

Николай Ольков

Собрание сочинений

2 том

Николай Ольков
Собрание сочинений. 2 том

«Издательские решения»

Ольков Н.

Собрание сочинений. 2 том / Н. Ольков — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-905039-7

Во второй том вошли: роман «Сухие росы», повести «Глухомань», «Гриша Атаманов», «Мать — сыра земля». Эти произведения отмечены Литературной премией Уральского Федерального округа.

ISBN 978-5-44-905039-7

© Ольков Н.
© Издательские решения

Содержание

Глухомань	6
Повесть	6
1	7
2	10
3	15
4	20
5	27
6	30
7	33
8	35
9	37
10	42
11	44
12	48
13	49
14	51
Гриша Атаманов	53
Повесть	53
1	58
2	62
3	66
4	71
5	76
6	81
Конец ознакомительного фрагмента.	83

Собрание сочинений

2 том

Николай Ольков

© Николай Ольков, 2018

ISBN 978-5-4490-5039-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глухомань

Повесть

1

– Ну и брызги же от тебя летят, Дарья Мартемьяновна, не поберегись – с ног до головы оплещешь.

– Не видишь, крыльцо домываю, скоро начальство придет, а у меня растворено – не замешано.

Дарья, подоткнув подол застиранной юбки и широко расставив ноги, спускалась по ступеням высокого конторского крыльца, выманивая за собой жирную октябрьскую грязь. Она не глядя узнала по голосу Семена Федоровича, своего ровесника, и даже сердце екнуло. Сказала с деловой резкостью:

– А ты чего с утра пораньше приперся?

– К начальству вопрос, – уклончиво ответил ранний гость, тщательно уминая во влажную землю тощий окурочек.

Дарья выпрямилась, отжимая тряпку, обернулась, у Семена, как всякий раз, душа замерла: не пожилую женщину, а крепенькую круглолицую белянку-красавицу, курносую, с кудряшками видел он перед собой

– Ты, верно что, по большому делу, коли в хромовых сапогах и при шляпе. Шляпу-то зачем надел, сроду не видела тебя при шляпе.

Семен Федорович обиделся:

– Не смотришь в мою сторону, Мартемьяновна, вот и дивно тебе, что я прибарахлился. А я, шутки в сторону, всегда стараюсь быть при аккурате, стало бы тебе известно. Чтобы ваш брат, бабы, не чесали языки по моему поводу.

– Да ладно тебе, в обиду впал. Я ведь без злобы. – Она вытряхнула тряпку, отойдя чуть в сторону от Семена, выплеснула из ведра воду и подошла к гостю, вытирая озябшие руки подолом верхней юбки.

– Как поживаешь, Семен Федорович? Авдоха твоя как здоровьем?

– Я ничего сам себя ощущаю, а Авдотья плоха. Дотянет до лютых морозов, потом всей деревней яму долбить придется.

Дарья вздохнула:

– Христос с тобой! Такие речи!

Семен оживился:

– А я, Дарья, без сожаления, скорей бы. Детей нет, рыдать некому, сам для приличия слезу пушу, и опять вперед.

Дарья помолчала, потом спросила:

– Ты проходить будешь или тут подождешь?

– Постою, пусть просохнут плахи-то, а то наслежу, опять от тебя взысканье.

– Много я с тебя взыскивала.

Семен встрепенулся:

– А ты суммируй, какую жизнь я прошел, много чего получается после нашей разлуки, и все за твой счет.

Дарья вздохнула:

– Нашел время и место. Грех тебе при живой жене такие разговоры проводить. А вот и начальство идет.

Директор совхоза Гурушкин в плаще и резиновых сапогах, но тоже при шляпе, громко поздоровался, омыл сапоги в большом корыте, глянул на Семена.

– Ты не ко мне ли, Семен Федорович?

– Ежели примите, благодарен буду, а нет времени на меня – дождусь парткома, тот обязан.

– Проходи, – сказал директор, – парткома теперь до второго пришествия не будет.

– А что с Володимиром Тихоновичем?

– Ты телевизор смотришь?

– «Рабыню Изауру». Третий раз. Смотрю и плачу.

– Не о том слезы льешь, Семен Федорович. Разве не слышал, что советы распустили и партию прикрыли?

– Так то не нашу! – обрадовался Семен Федорович. – Прикрыли какую-то в недоразвитых странах, знаю.

Гурушкин вздохнул:

– Ладно, пошли в кабинет.

Семен присел на краешек стульчика у стола, невысокого роста, чисто выбритый, сухой лицом и телом, он был не по годам подвижен и бодр.

– Григорий Яковлевич, ты мне скажи, как дальше будет деревня? Вчера, сам видал, дойных коров погрузили на скотовозы, колбасы, стало быть, захотелось новым князьям и боярам. И что дале? Коров прирежем, чем кормиться будем? Ты же вечный крестьянин, хоть и не старый еще, но ты же в понятии, что без скотины деревня станет пустой.

Директор размял сигарету, затянулся, разогнал клубы дыма рукой.

– Спросил бы что попроще, Семен Федорович, к примеру, дровишек или тесу на забор.

– Ты мне про тес не намекай, сам знаю, что два века не живут, тесины меня вторую пятилетку на чердаке дожидаются. Батьку твоего вон на сколь пережил, а он только на три годика и постаре. Воевали вместе, а там день за два, а иной и полжизни стоил. Я тебя сурьезно спрашиваю, потому как не могу ума дать, что деется. Хлеб куда нынче дели? Молотили-молотили, через два дня пришел – скукурикало зернышко, под метлу увезли. Терлись, сказывают, тут трое чернявеньких. Это не продзаверска ли возобновилась? Говорили, что в тех отрядах голубоглазых тоже немного было.

Григорий Яковлевич посмотрел в лицо этому пожилому человеку, давно пенсионеру, но понимающему совхоз как родное существо, хотелось сказать ему все, о чем думал в эти последние дни октября, да и вообще весь год шел к этому вопросу: а что дальше? Даже в районе слова не давали сказать, в область вовсе не вызывали. Но неизбежность формулировать свое понимание снова пришла вместе с любознательным и беспокойным стариком.

– Дядь Сем, ты же видишь, что идет революция, без особой борьбы, если не считать расстрелянный Верховный Совет, но с большими переменами в хозяйстве, в экономике. Оказывается, мы жили плохо, теперь все перестраивают, чтобы жилось лучше.

– Э-э-э, Гриша, такое я уж не пятый ли раз слышу на своем веку: сегодня плохо, потому что завтра должно быть хорошо. А ведь мы было зажили кучеряво: и зарплатешка выровнялась, и в магазинах кой-что стало появляться, мужики легковушек в кредит понабрали. Это плохо, скажи, плохо?

– Понимаешь, Семен Федорович, в мировую экономическую систему наша страна с плановой экономикой не вписывалась, тем и жили, что нефть и газ гнали за границу. В общем, считается, что перемены были необходимы, и они наступили.

Старик понимающе кивнул:

– Хотел картошку продать заезжим хачикам, но таперика воздержусь, а то в мировую систему меня на носилках придется заносить. Отходишков для поросенка у тебя нет, зерна для курей тоже не продашь, стало быть, из живности остается старуха и кот блудливый. Потому картошка незаменимый стратегический продукт, по всей расейской истории так, если шутки в сторону.

Семен любовался дорогим своим человеком: и до чего красив, весь в отца – высокий да стройный, лицом строг, а натурой добрый, улыбнется – рубаху с него сними, отдаст.

Гурушкин вышел изо стола, нервно и громко ступая по старым скрипучим половицам.

– На той неделе будет собрание, приедут товарищи из района совхоз распускать. Приходи, если интересно. Там я пошире, чем сейчас, сообщение сделаю. А теперь походи по своим делам, дядь Сем, у меня бумажной работы тьма.

2

Сема думать любил, рассуждал сам с собой, иногда даже ссорился, да громко, так что было сомнение у народишка насчет дальности его ума. Сам Семен этим особо озабочен не был, до пенсии плотничал, с топором играл, на спор сургуч с водочной бутылки на чурке одним ударом срезал, но на народе больше молчал. Были в деревне несколько человек, с которыми он мог откровенничать безбоязненно, с ними и отводил душу. Но иногда срывался и на народе, высказываясь притчами и намеками.

Вот как человеческая жизнь так извернется, что вроде и полгроба из задницы торчит, прости Господи, а все равно как не жил. Скоротечность и неуправляемость жизнью больше всего волновали Семена. Он сильно огорчился, когда пенсионную книжку получил, где написано, что назначена пенсия Семену Федоровичу по старости. Он аж отпрянул: почто по старости, не старик еще, кажись? Пошел в отдел кадров, попросил Фросю, чтобы поискала, может, есть книжки, где не старость записана, а, допустим, возраст. Фрося и говорить не стала: бумаги в райсобесе готовят, там и проси.

В район Сема не поехал, он района боялся еще с тех пор, как ездил хлопотать за друга своего Якова Матвейча, отца нынешнего директора. Они на фронте шибко подружились, одной бомбой и ранило их при налете тяжелой авиации, только Сему контузило слегка, а Якова едва откачали, ногу отпилили и кое-что из внутренностей выбросили. Вернулся он в деревню совсем никакой, робить не может, а на пенсию документы где-то затерялись. Ну, и рванул Сема в район, в одном здании пошумел, в другом, из третьего его под белы руки увели в камеру, а утром отправили в город соседний, в специальную лечебницу, ну, дурдом, по-нашему. Сема там только месяц и провел, но насмотрелся на всю жизнь. Какой-то доктор приехал, из умных, осмотрел Сему и заключение написал: в деревне рабочих рук не хватает, а тут здоровый мужик в калошах по двору ходит и кукишки воробьям показывает. Сему и отправили домой. Вместе с ним прибыло и подтверждение: точно, умом шевеленный Семен, в дурдоме зря держать не будут.

Вот почему жизни нет простому русскому мужику? Вроде не шибко зло употребляют, работать может, а все как-то впустую. Крепко занимала умишко эта проблема: почему плохо живет мужик в деревне? Сема вспоминал всю свою жизнь. Первую самостоятельную борозду на пашне под зорким оком отца, когда послушная Пегуха осторожно прошла гоны, и десяток крикливых грачей бросились на свежий пласт чернозема. Потом эту землю вместе с Пегухой сдали в колхоз. Семку тоже записали колхозником, и он снова пахал эту землю, но земля была уже чужая, Пегуха тоже колхозная, и грачи вроде как загрузили.

В ту зиму собрался Семка жениться, за Дашкой втихоря ухлястывал, Мартемьяна Безбородихина дочкой. Дарья-то не особо старалась убежать, когда с вечорок шли, но баловства не допускала, так и сказала:

– За титьку словишь – голову отверну.

Семка знал, что так оно и будет, в случае чего, потому жался к девке, как кот, шурился, да и она мурлыкала, в общем, заговорил Семен о свадьбе. Отец сразу сказал, что Мартемьян Дарью в нашу семью не отдаст, но сын настаивал, и сватов собрали. И Чирку, маленькому говорливому мужичку, и Парамонихе, которая знала весь обряд сватанья, пообещал богатый магарыч, пошли всей кампанией, но Мартемьян с раннего вечера спустил по двору двух кобелей, пришлось стоять под воротами и кричать хозяев. Кто-то из домашних убрал собак, но настроение жениха совсем поухло: собак убрал, сам отлаиваться будет.

Мартемьян стоял посреди просторной избы, уперев руки в боки, поулыбывался:

– В передний угол не приглашаю, незачем. Дарье порку уже устроил, чтобы блюла себя и следила, кто рядом трется. Мне с тобой, Федор, родниться нет нужды, ты и при новой власти

все в тех же штанах, как при царизме. Не фартит тебе, и сын твой такой, с топором за поясом, как разбойник.

– Ты, Мартемьян Фадеич, семью мою не позорь, мы всегда жили честно и своим куском. Ты в сельпо подался, и слава Богу, а мы по колхозной части, там навар жиже. Только поперек их судьбы не становись, до добра это не доводит.

– Уж не пугать ли меня взялся? Увижу твоего трухлявого рядом с дочерью – запорю, не сам, найду доброжелающих. Все, порог знаете, где. Савельевна, ставь ужин!

Через неделю Семка перехватил Дарьюшку темным вечером, никуда отец не выпускал, а тут, видно, нужда какая поджала, бегала девчонка в легкой шубейке к родственникам.

– Ой, испугал ты меня! Давай хоть от ворот отойдем, а то тятя услышит.

– Не бил он тебя?

– Нет, словесно. Пообещал в район выдать за дружка своего, торговый начальник какой-то.

– А ты?

– Я – что? Сказала, что не пойду, а он хохочет.

– Значит, отдаст. А я об тебе сохну, кусок поперек горла. Когда отправить-то собрался тебя?

– Не знаю, тут проговорился, что тому надо еще со старой женой развестись, да в райкоме все уладить.

– Даша, неужто ты согласишься?

– Ой, отстань, и так голова кругом. Все, побежала я. Постой, я тебя поцелую.

Она охватила его за шею, он распахнул полушубок, прижал ее, так что сердечко слышно стало, и они неумело и сладко целовались. Обмякнув, она выпросталась из его рук, запахнула шубейку и побежала к дому.

Семен Федорович тот вечер всю жизнь помнил, и как зиму страшную пережили, когда со дня на день грозился отец увезти дочь в район. Неведомо, какими путями все обошлось, сказывают, власти партийные сильно воспротивились, один чин так и сказал: «Кабы партийный билет разрешал, я бы каждый год баб менял, а то и чаще. Так что ты про молодую жену забудь, а то все мы тут с ума посходим».

Семен Федорович как сейчас помнил, что встретились они с Дарьюшкой ранней весной в лесу, случайно, он жерди приехал на паре коней рубить для колхозного загона, она березовый сок собирала.

– Ты не одна ли?

– Разве он отпустит? Брат со мной, да он сорок зорит.

И нацеловались же они в тот день – до одури. Березовка давно через край бутылки течет, а Дарьюшка не видит, не хочет видеть. Брат два раза окликнул, отозвалась тягучим голосом, и опять губы в губы.

– Ты чего несмелый такой, Сема, потискай меня, мне сладко, когда ты мнешь.

– Ага, а сама придушить обещала.

Она хохотнула:

– Дурачок, когда это было. А теперь я створки тебе открою, если ночью придешь. Придешь?

– Приду. Седни?

– Нет, дня через три, я дам знать, тятя уехать должен. Жди.

Дом Мартемьяна, доставшийся ему от отца, купца, державшего три лавки, стоял в глубине сада из густых неухоженных зарослей черемухи, акации и сирени. Поговаривали, что старый купчишка откупился от властей, а магазины свои передал в сельпо. Торговали сами, Мартемьян со временем все к рукам прибрал, от мобилизации в Финскую войну прикрылся грыжей, хотя пятипудовые кули с телеги прямо на амбарную эстакаду забрасывал. Месячную

выручку всего сельпо у Мартемьяна разбойники отобрали, его в район лошадь привезла едва живого, только Семен сам слышал, прячась накануне за завозней и поджидая Дарьюшку, как Мартемьян кричал приказчику Фиме:

- Бей прямо в лицо, чтоб синяки были, чего ты меня гладишь?!
- Боюсь, Мартемьян Фадеич, вдруг ты за обиду примешь?
- Вот дурак, сказано, для великого дела надо, бей, все стерплю, а не то завтра же в военкомат сдам.

Позавидовал тогда Семка приказчику, уж он бы уговаривать не заставил. Дарьюшка прибежала напуганная, говорит, тятя зашел в дом и скрылся в своей комнате, не велел даже чай подавать. Полезли они через заросли к окошку, и видел Семка, как Мартемьян с разбитым лицом деньги пересчитывал и на три пачки делил, бормоча:

- Всех куплю, сволочей, а на фронт не дамся. Мне и тут в войну славно будет!

Дарьюшка в последнее время совсем с ума сходить начала, так и висла на Семке, а тот радовался и вздрагивал: вдруг кто застукат? Прямо сказать, Мартемьяна боялся.

- Убежим куда, Сема, везде люди живут.
- Куда я без бумаг, колхоз непустит, а так – посадят.

– Достукаешься, что выдаст меня за какого-нибудь полумотика, у него что ни друг, то жулик, и разговоров только про деньги. Завтра он уедет, как стемнеет, приходи к моему окну, я отворю. – Она прижалась к нему и шептала на ухо: – Увалень ты, Сема, и за что только люблю дурака? А отцу объявлю, что в положении, даже по деревне слух пушу, покочервяжится, и отдаст, никуда не денется. Все, побегла я, не дай бог, хватятся.

Ох, и долгий же был этот июньский день, уж сил нет терпеть, а все никак не темнеет. Мать спросила:

- Ты чего маешься? Живот скрутило?
- Скрутило, мать, мочи нет.
- Не трись здесь, сходи за пригон, потужься.

Ушел совсем, в дальнем углу сада перелез через прясло, дарьюшкино окно увидел, створки настез, облапал кряжистую черемуху, подтянулся, на сучок встал, до окна два шага всего. И тут как будто сучок треснул, и кто-то сильно лопатой плашмя ударил его по заднице. Когда уже бежал переулком, проскочив изгородь, понял, что стреляли в него, во как! Затаился, пощупал задницу – мокро, лизнул – кровь, а зуд такой, хоть волком вой. Докондыбал до Прони Бастенького, вроде как дружок, про Дарьюшку все знал, кое-как растаскал его на сеновале, рассказал. Пошли в баню. Поставив Семку задом кверху, Проня, осветил рану и захихикал.

- Ты чего ржешь, дурак, тут в зубах крови нет, а ему хаханьки.

– Семка, это тебя солью врезали, моли бога, что на четверть в сторону, а то бы и в окошки к девкам лазить нужды не стало.

- Ты не ржи, чего делать-то?
- Я так морокую, что отмыкать тебе придется. Пошли на речку.

Вода была теплая, но Семку бил озноб, Проня заставлял растирать рану, чтобы соль вымывалась. Уже светать начало, когда Семка притащился домой. Несколько дней на работу не ходил, ничего, затянуло, как на собаке.

Поздним вечером Проня стукнул в окно и позвал Семку.

- Чего тебе?
- Выйди, дело есть.

Вышел. В тени ворот стояла Даша. Пронька махнул рукой и скрылся.

– Сема, это приказчик Фимка подслушал наш разговор и с ружьем сидел напротив окна. Сильно он тебя?

- Сойдет. Тебе, небось, тоже попало?

– Нет, тятя веселый ходит, не иначе задумал что-то. Ох, Сема, не хочу я ни за кого, а ты все медлишься. Бежать надо, здесь уйди я к тебе – убьет отец, я эту породу знаю. Того же Фимку наймет. Убежим, а? – Она положила головку ему на грудь.

Семен покачал головой:

– Некуда бежать, Даша.

Она неловко отпрянула от него, вздохнула тяжело, по-бабьи:

– Значит, нет в тебе жалости ко мне совсем, ты почто не ценишь, что в постелю свою позвала тебя, не мужа еще? До субботы жду, не решишься бежать – не подходи больше, я потом хоть за дьявола пойду, мне все едино.

И она быстрым шагом растворилась в темноте.

По теперешнему стариковскому разумению понимал Сема так, что убоился тогда Дарьюшку выкрасть и тайком увезти, то ли батюшки ее испугался, то ли перемен жить в других краях, а это надо было не иначе, как в город. А кто он в городе? Так себе, пятое колесо. Ни разу в городе не бывал – куда бечь?

И три дня, оговоренные Дарьюшкой, прошли, и неделя, и месяц – не появляется она нигде, но речей нет, что в замуж увезли. Ретивое ноет, а ума не хватает. Приходит как-то дружок Проня Бастенький, зубоскалит:

– Дарью в лавке встретил, велено тебе к ихней задней калитке после управы подойти. Ты бы на всякой случай задницу дощечкой прикрыл.

Пришел пораньше, притаился, как бы опять на приказчика не нарваться, увидел, что сама бежит, сердце в пляс пустилось. Обняла его, целует, а у самой слезы:

– Ничего не решил, Сема? Ах, пожалеешь, да поздно будет для обоих. Вот, слушай, он опять кого-то мне нашел, свирепый стал, я как-то про нас с тобой заикнулась – чуть не ударил. Деньги ему глаза застилают, да и только. Так вот, слушай. Чтобы он чего не удумал, я в подпол полезу, как за картошкой, и с лесенки упаду, понарошку, а орать буду во всю правду. Пусть любых фельдшеров везет, иначе чем на излом ноги не соглашусь. Месяц просижу, а ты, Сема, поедешь в город, договорись тут с бригадиром, пока сенокос не начался, съезди и все разузнай. Я вот тебе денег на дорогу принесла. Сема, славный мой! – Она припала к нему и дрожала вся. – Поезжай и все разузнай про работу и про жилье, говорят, там есть такие дома, где обшакон живут.

– Это как?

– Ну, в большом доме у каждого свой угол. Ой, да Господи, нам и хватит!

– Отец прибьет обоих.

– Не прибьет! Я ему записку оставлю про мордобой нарошнешный и про три кучки денег. Убоится! Все, убегаю, хватятся.

С утра и до позднего вечера добирался Семен до города, заночевал в какой-то пекарне, у девчонок рабочих выпросился, тут же и про работу узнал, про жилье.

Девчонки советовали:

– Коли специальности нет, лучше стройки ничего не придумать, будешь подсобником, тяжело и тариф слабый, зато койку в общежитии дадут.

– А я с женой...

– Могут и комнату дать, только навряд ли.

– Мы и не расписаны еще в сельсовете.

Девчонки смеются:

– Таких жен отдельно селят.

Утром нашел строительную контору, наскочил на прораба, тот сказал, что хоть завтра выходи на работу. В конторе койку пообещали и Даше тоже в женской половине.

Домой вернулся измученный и беспомощный, так и не пристал ни к какому берегу. Услышал, что Дарья ногу повредила, в глине замотана, дома сидит. А на улицу выйдет – что ей сказать?

24 июня в размашистые луга Лебкасного лога и Коровьей пады приехала на дрожках секретарь сельсовета Хроменькая Надя, сразу подтянулись мужики и парни, а она под расписку отдавала повестки. Все молчали. Молодежь хотела сразу сорваться домой, потому что отправка уже завтра, но бригадир приструнил:

– Надо сенишко дометать, вы уйдете, а колхоз со скотом останется, чтобы вас кормить.

Пришлось робить, только Наде наказали, чтобы по всей деревне бани топили, мобилизованных напоследок попарить.

Семка слегка обмылся, окатился холодной водой и вышел на воздух. Вечер мирный, небо в звездах, ни ветерка. Поднялся наверх от бани, она у них на задах огорода, подошел к пряслу, а Даша стоит в платочке, в платьишке ситцевом, вся воздушная, родная, так и прыгнула к нему на руки:

– Сеня, миленький ты мой, вот и выбор наш кончился. Ты скажи своим, чтоб не теряли, а я тебя в вашем сеновальчике ждать буду.

Коротка июньская ночь, для долгожданной любви коротка, для военной разлуки.

Даша так и не выпускала Сему из объятий:

– Родной мой, единственный, муж вечный, пентюх ты битюковый, отчего девчонка должна все за тебя решать! Не приди я – так и не насмелился бы. Я тебя ждать стану, ты вернешься скоро, там же недолго, я в газете читала. А я тебе потом ребятишек нарожаю, целую кучу, таких же тихонь да скромненьких.

– Выдаст он тебя.

– Теперь не выдаст, прикинусь беременной, я же по-всякому умею.

– Идти надо, Дашенька.

– Пойдем. Сейчас он меня встретит.

Она обняла его и крепко-крепко в губы поцеловала, он даже сойкал, пригнулась к самому лицу, посмотрела на свою работу, довольная собой:

– Засос тебе поставила, чтобы все видели, что провожала тебя на фронт горячая девка, теперь уж баба твоя.

Вокруг зазвенели подойники, заспанные хозяйки толкали лениво жующих коров. Начался очередной крестьянский день.

3

В глухих урманных местах спрятались три деревни, сказывали, не то пугачевские, не то разинские недобитые казачки сюда утянулись с Урала, баб по пути понабрали, да и обосновались. Леса богатющие, низины травой зарастают – литовку не протащить, а подлески да поляны распахали, рожь дуром дурит, перепелки выпорхнуть не могут, пешком выходят, колос с ладони свешивается.

Все это Сема знал от стариков, всегда интересовался прежней жизнью, когда своя не особо удалась. Будь пограмотней, записал бы, в потомство пустил, а так только сам и знал, да иногда рассказывал вместо баек.

Про колхоз его рассказ записал какой-то заезжий писака, три дня бражку пили у Семена, записал и рассказ вставил в книжку, когда советской власти не стало и распечатывали всякую чушь. Книжку ту Сема хранил и всякий раз показывал свой рассказ, хотя, очевидцы свидетельствуют, много всего писатель от себя тиснул. Но Сему это не смущало: история тем и интересна, что каждый ее может дополнить, если ума хватает.

«У нашего колхоза биография богатая, как у Володи—Тюрьмы, которого посадили еще ребенком, и за неполные пятьдесят он сроков получил в два раза больше, отсидел частично, зато в короткие передышки между посадками хвастал, как много он повидал. Бабы вздыхали, а ребятишки пучили глаза от восхищения и зависти.

Колхозы в наших краях создавали зимой тридцатого года, а наш образовался за одну ночь без предварительной проработки и подготовки, и это повергло в смятение районных начальников. Все понимали, что разовый успех наверху могут истолковать как результат системной и продуманной массово-политической разъяснительной работы, и никто не мог быть гарантирован, что завтра не заставят повсеместно поднять этот уровень и добиться единодушного и молниеносного вступления в колхозы всех граждан. А было много деревень, где единоличники заняли молчаливую оборону, поддакивали линии партии, но заявлений не писали.

Нашей деревне повезло в том смысле, что всегда у нас было полно мужиков с хорошо подвешенными языками, которые они не утруждали себя держать за зубами, и считали меткое слово не меньшей заслугой, чем добрый приплод в хозяйстве или хороший хлеб в закромах.

На собрание по поводу новой колхозной жизни в середине дня приехал к нам из уезда суровый человек в кожанке, правда, без нагана, хотя наган, сказывал сельсоветский кучер по прозвищу Кнут, у него был и лежал в «голенище», по-городски – в портфеле, в гороховой тряпице. Уполномоченный начал с положения в партии и прошел через все революции, включая поверженный женский батальон, охранявший последний бастион мировой буржуазии – Зимний дворец. Уполномоченный, явно не наших мест, громовым голосом картаво говорил о всемогущем лозунге «Земля – крестьянам!», который наши мужики понять не могли, потому что земля в Сибири и есть у крестьян, у кого же ей еще быть? Даже председатель сельсовета Никитка Щинников пахал и сеял. Про помещиков и капиталистов, которые безотрывно пили кровь из эксплуатируемого крестьянства, у нас не слыхали, и живыми этих кровососов никто не видел, хотя в соседней деревне маркитант Феофан, когда колол свиней или другой скот, просил у хозяйки чистую кружку, нацеживал из раны свежей горячей крови и, перекрестившись, выпивал, вытирая тряпицей густки спекшейся крови с бороды и с губ.

Когда уполномоченный сказал об линии партии и что она в данный исторический момент пролегла именно по нашей деревне, стало как-то не по себе, но в ответ на вопрос Никитки: «Кто за колхоз?» дружно промолчали.

Тогда уполномоченный заговорил о кулаках и подкулачниках, о текущем политическом моменте и о голодающих детях какой-то эксплуатируемой страны, имени которой никто в деревне до этого не слыхал, но, утверждал уполномоченный, дети там голодают только

потому, что мы в своей деревне не желаем им помочь. Детишек было шибко жалко, некоторые бабы даже всплакнули, но для мужиков все равно все было непонятно, и потому голосовать никто не стал.

Вот в это самое время, когда в президиумном застолье окончательно разыгралась растерянность, и уполномоченный похлопал по голенищу, наверно, проверяя, там ли наган, в это время к столу подошел Филя Задворнов. Он к советской власти никак не относился, но налоги платил исправно, приговаривал, что всякая власть от Бога, хотя в церковь ходил не чаще, чем в сельсовет. Он почитывал книжки и даже выписывал какие-то журналчики про землю и про скотину.

Филя поклонился в сторону народа и произнес:

– Гражданин уполномоченный человек сурьезный, я и в газетах читал, что колхозы – штука прочная и надолго, потому вступать все равно придется, а чтоб время не терять, прошу вспомнить про Нюрку, что на Заговенье отдавали за Ваньку Федора Евсеевича.

Когда все дружно, под веселый хохот и отчаянное улюлюканье, подняли за колхоз руки, Никитка, чтобы не испортить момента, сам неудержимо хохоча, еще раз окинул орлиным оком большую школьную комнату, подвел итог:

– Записываю всех, так и отметим в протоколе, а заявления оформим завтра.

Только уполномоченный ничего не понял и угрюмо сидел за столом. Его революционное самолюбие было заметно ущемлено, он был подпольщиком до революции, тянул каторгу на рудниках, откуда сразу произведен в члены ревкома и наделен полномочиями комиссара ревполка. Он словом гнал людей на смерть и победу, дважды ранен, на съезде Советов с самим Лениным встречался, тут три часа речь держал, а аргументы какой-то Нюрки оказались и проще, и убедительней.

Наверно, за ужином Никитка расскажет ему, что в канун поста выдавали замуж простую девку Нюрку, и прямо на свадьбе, когда уже застолье подходило к концу, спрашивает перепуганная невеста у матери своей, как ей с женихом ложиться. Мать, женщина строгая, но справедливая, резанула во весь голос: «Ой, Нюрка, как ни ложись, все равно ухайдокат!». Скажи бы она тихонько, может, на этом и обошлось, но совет слышали все и потом долго обсуждали, хотя все по собственному опыту знали, что так оно и есть.

Филька Задворнов, кажется, вовремя вспомнил о нюркином вопросе и мамамином заверении в неотвратимости счастья семейной жизни.

Потом у нас был колхоз и очень много председателей. Их привозили районные представители в маленьких плетеных кошевках, потому что собрания проводили сразу после Нового года, стараясь не угадать под Рождество, и, хотя церковь в нашем селе ликвидировали еще до коллективизации, в правлении опасались за явку и пьянку. Бывало, что председателя до окончания полномочий райком убирал после особенно ущербной зимовки скота или сразу после первого снега, который, оказывается, помешал успешно завершить уборочную кампанию. Снимал и ставил председателей райком, но почему-то требовалось наше поголовное голосование.

Привезенный обычно тихо сидел с краешка президиумного стола и пугливо озирался, после собрания счетовод Крысантий Спиридонович торжественно вручал ему колхозную печать. С утра новый председатель начинал робко раздавать наряды, бригадиры тоже предусмотрительно помалкивали, но эти были из местных, они всех колхозников знали по именам, и в такое смутное время старались от коллектива не отрываться.

Что же касается Крысантия, то имечком его наградила крепко обиженный поп, который перед самым крещением младенца пришел в дом родителей новорожденного, чтобы получить необходимые подношения. Папаша, надо полагать, был человек прижимистый, на глазах священника вынес полную пудовку муки и ловко опрокинул в санный ящик. Поп все-таки успел заметить, что пудовка наполнена мукой со стороны доньшка, по ободок, муки там фунтов пять,

не больше, но промолчал, а на крещении посмотрел в святцы и нарек младенца Крысантием. Против попа не попрешь, так и остался парень с диковинным именем.

Перед самой войной, примерно за год, очередного председателя не в своей кошевке увезли в район в сопровождении двух милиционеров. Толи чего где не досдал, толи брякнул по неосмотрительности. Из района приехал один представитель, без подкидыша, вышел вперед стола, привычно расправил под ремнем гимнастерку и громко сказал:

– Райком решил вам, товарищи колхозники, дать право самим выдвинуть председателя колхоза, и потому рекомендует на эту должность хорошо вам всем известного старшего чабана члена партии товарища Ерохина.

Ерохин, или по-деревенскому Ероха, ничем выдающимся знаменит не был, даже чабаном работал как бы по неполноценности, работа эта нетяжелая и бабья, но детей имел много. Любил говорить при случае: «Мы, партийные...». Правда, внимания на это никто не обращал, так и жил Ероха, пока какому-то райкомовскому хлыщу не попала на глаза папка с его данными. И оказалось, что всеми статьями тянет Ероха на председателя новой жизни: из крестьян – беднее не бывает, линию партии блюдет, краткий курс истории ВКП (б) прошел и согласен. Грамотешки маловато, если не сказать, что совсем нет, потому как младшую группу он закончил, а в среднюю отец не пустил, потому что по хозяйству работать надо, а, чтобы Ероха не ревел, шепнул ему, что в средней группе ребятишек будут кастрировать. Но в райкоме об этом не знали, конечно.

За Ероху проголосовали, никто слова против не сказал. Сам Ероха был напуган поболее привозных, но против райкома возразить побоялся. Руководил он обреченно, как овец пас. В правление ходил, как на принудилровку, но в райкомовские поездки снимал свои скосопяченные пимы с натянутыми на них литыми резиновыми галошами. Наш деревенский толковый мужик Алеша Крутожопенький всю округу снабдил такими литыми калошами. Штука эта в хозяйстве крайне необходимая, без заказов Алеша не жил, резину поставлял ему свояк с промышленного Урала. И весной, чтобы ловчее было ходить на ферму, председатель тоже заказал калоши на белые чесаные валенки. Алеша снял мерку, и через неделю, с усилием натянув изделие на чесанки, лихо поставил перед заказчиком: носи на здоровье!

Чтобы гладкая резина не скользила по твердому снегу, Алеша выливал на подошве поперечные полоски. И председателю тоже отлил, но так ловко, стервец, изловчился, что большая председательская калоша оставляла на снегу четкую печать: «Ероха». Дня два, наверно, никто ничего не замечал, а потом всех словно разорвало, хохот в деревне стоял, как на вечеринках в старые годы, когда кто-то ловко гасил лампу, и парни щупали девок ко всеобщему восторгу.

Ероха сразу велел заложить выездного жеребца и махнул в район. Говорят, он так ушло все обсказал, что с ним согласились. Сейчас, говорит, колхоз на коленях стоит, вы же не хотите, товарищи партийные, чтоб я его вовсе на брюхо положил? Этого товарищи не хотели. Поговаривали, что главную причину, калоши со штампом, оставили в районе как вещественность, но это наветы, калоши видели потом на Ерохе, когда он опять стал ходить за овцами, только печать с них была уже срезана.

После войны, уже в 1946 году, председателем избрали нашего деревенского Кешу, который на фронт ушел молодым парнем, а вернулся майором и с молодой городской женой. Звали его уже Иннокентием Алексеевичем. Офицерскую форму он, наверное, с год не снимал, только погоны отстегнул. Дела в колхозе, знамо, послевоенные, еще год назад дядя его по материнской линии склад не сумел ревизии показать, так чуть под указ не попал, ладно, самогонкой тогда три дня всю бригаду употчевал, а то бы загремел. При Иннокентии народ отпил. Трактором самолично давил самогонные аппараты под плач и материки односельчан, все бочонки и фляги из под браги конфисковал на общественные потребности, бабы на ферме кипятком с крапивой и смородинными молодыми ветками не могли сивушный дух вышпарить.

Зато построили клуб и новую школу, мост через Ишим прокинули, на отчетных собраниях председателя ругали нещадно, но избирали заново, а когда Иннокентия хотели забрать в райком, весь колхоз два дня на работу не выходил, правда, это в сенокос было, в аккурат задождало чуть-чуть, так что все кстаги, но бучу тогда большую подняли. Пришлось вечером собрание собирать и объявлять людям: «Никуда, мол, я не поеду, жните, что посеяли, чтобы вас жабило...»

«Чтобы вас жабило» – это было его самое большое ругательство.

Когда целина нагрязнула, у нас тоже много чего распахивали, не все, правда, в пользу пошло, но поболее, чем у соседей. Выгоны и сенокосы вечные Иннокентий пахать не дал, а заместо этого нашел такие пустошки в первых лесках, что перекрыл все планы и хлеба завез на элеватор столько, что заведующий возмутился: не вози больше, буртовать некуда!

Потом прошел слух, что за целину будут давать ордена и медали, и что нашему Иннокентию привезут геройскую звезду. Вполне возможно, что так оно и должно было быть, но сразу после уборки Иннокентий выдал колхозникам на трудодни зерна столько, что во дворах мешков не хватало, и золотую нашу пшеничку вываливали из грузовиков прямо на чисто выметенные ограды. Такая благодать была не везде, соседи стали пенять своим председателям, те пожаловались в райком, и Иннокентия даже вызывали, подвели под него статью, что он, де, идя на поводу и потворствуя частно-собственническим интересам своих колхозников, действует в ущерб общегосударственной политике советской власти в деле колхозного руководства. Напрасно доказывал Иннокентий, что перед государством он все выполнил, что колхозник тоже человек, он жрать хочет еще до отчетно-выборного собрания, когда паи распределят. Секретарь райкома, видать, хороший был человек, он прямо сказал Иннокентию, в чем дело: смута в районе пошла, до области донеслось, а в других колхозах все под госплан выгребли, дать придется на трудодень, чтобы только концы с концами... Сказал так же, что Звезда ему теперь уже не светит, обком отдаст другому руководителю. Иннокентия с колхоза убрали, двое суток с перерывами на еду и сон шло собрание, пока не встал секретарь райкома:

– Вы что, хотите своего председателя в тюрьму посадить? Ему же за этот хлеб авансом по трудодням срок полагается. Снимем с колхоза, доложим, что наказан. Не отдадите – силой заберут, ему же хуже. Подумайте.

Думать тут нечего. Мирона Чудинова привезли к нам из соседнего колхоза вроде как на повышение. Грамота у него была небольшая, четыре школьных класса да курсы руководящих работников, но работу крестьянскую он знал, дела там у него шли неплохо. Мирона избирали в партийный орган и в депутаты, но всякий раз все заметнее стали спотыкаться о графу образование. На партийной конференции, когда мандатная комиссия докладывала о достоинствах делегатов, было отмечено, что с начальным образованием – один, и все знали, что это наш Мирон. Обиженный Чудинов пришел к первому секретарю и слезно попросил:

– Впишите мне семилетку, ведь за эти годы я столько курсов прошел!

Ничего ему вписывать не стали, а скоро всех малограмотных округлили и отнесли к категории «неполное среднее образование». Тут наш Мирон ожил. Председатель всегда оставлял за собой последнее слово, будь то на заседании правления, на колхозном совещании или на партийном собрании. Чаще всего разговоры и тут вели о производстве, так что Мирон был в своей стихии.

Но однажды случилось страшное. На повестку дня общего партийного собрания колхоза вынесли вопрос о воспитании молодого поколения. Пригласили учителей, весь беспартийный актив, секретарь парткома сделал доклад. Выступили комсомольцы и культработники, директор школы и фельдшер участковой больницы. Мирон вышел к трибуне в самом конце собрания, привычно прошелся по сводкам и врезал осеменатору за плохую случку коров, поговорил о предстоящем севе, об угрозе ящура, только что пришла телефонограмма из района, потом наклонился к парторгу:

– Об чем собрание?

– О воспитании молодежи, Мирон Федорович!

– Да, мы сейчас обсуждает трудный вопрос об молодежи и куда с ней деваться. Конечно, ее надо воспитывать, как учит партия и правительство. Только вот как ее воспитывать, вот в чем вопрос! Я вот иду на собрание, уже потемочки, а Варвары Филипповны сынок, сломок господень, стоит на клубном крыльце, вывалил его через перила и дует! Так неужто его воспитывать, чтобы он на девятое бревно высыкал!?

Собрание разделяло основные положения речи председателя, выслушало ее со вниманием и проводило аплодисментами».

4

О наркотиках Гурушкин слышал и раньше, но все это было где-то далеко, в больших городах, по крайней мере, не в его глухомани. В кругу знакомых иногда обсуждали, как может государство допустить до такого, что зелье продается почти в открытую, потом дружно махали рукой, как и на все остальные проблемы: никому ничего не надо, каждый думает о собственном кармане.

По дороге из райцентра спросил своего шофера Ивана, молодого парня, только что из армии:

– У нас в деревне наркотой не балуются, ничего не слышал?

– Григорий Яковлевич, вы от жизни отстаёте, уже не баловство, а на полном серьёзе, с десятков парней и девчонок точно на игле сидят, это кроме травки, дело как бы безобидное.

– Из Казахстана везут?

– Оттуда. Я на прошлой неделе, помните, машину просил на охоту, так меня на лесной дорожке за Сивиргой «камаз» чуть не раздавил, кое-как успел между берёзок проскочить.

– С чего ты взял, что он хотел сбить тебя?

Иван хмыкнул:

– По роже видел, за рулем кавказец был, похоже – чеченец, я этот звериный оскал с Гудермеса не забуду.

– Почему мне ничего не сказал?

Иван пожал плечами:

– У вас и без этого проблем хватает, а я утром позвонил в милицию и дежурному капитану, помните, участковым у нас был, все рассказал, номер машины назвал. Он минутку помолчал, потом посоветовал об этом инциденте раз и навсегда забыть и никому не рассказывать.

Гурушкин возмутился:

– Ему этот номер известен, я правильно понимаю? Машина регулярно ходит к нам из Казахстана, возит отраву, и об этом знает милиция? Почему «камаз», ведь заметная машина?

Иван уж и не рад был, что рассказал, но знал, что теперь шеф вынет из него все.

– В кузове может быть всякая дрянь для отмазки, а наркота в дипломате. Вы заметили, какие особняки выстроили торгаши в райцентре, какие машины гоняют? На торговле карамельками такие бабки не сделать. Через них идет торговля мелким оптом, по деревням развозят, тут уже розница. И у нас тоже есть притоны, да не один.

Гурушкин попросил подвернуть к медпункту, с тех пор, как прикрыли по линии оптимизации бюджетных расходов участковую больницу, которую он построил на втором году своей работы директором, остался фельдшерский пункт, в нем фельдшер, по-деревенски медичка.

– Зина, тебе что-нибудь известно про наркотики в наших местах?

– Точно ничего не могу сказать, Григорий Яковлевич, но шприцы у меня покупают. Значит, колются.

– А в районе ты об этом говорила?

– Все говорят, но без толку, дали вон рулон плакатов.

– Так! Кто покупает, конкретно?

– Конкретно? Ромка Корчагин вчера десяток штук взял.

– Ромка? Гавриила Корчагина сын? Так он же еще школьник!

Зина грустно улыбнулась:

– Григорий Яковлевич, но других же у нас нет.

– Вот и я думаю...

– Они в школе собираются, если купить не на что, сами зелье варят.

– Ладно, спасибо за информацию.

Оставил Ивана около дома и поехал в тракторные мастерские, нашел Корчагина, поздравился. Ровесник, вместе в школе учились, Ганя с детства любил с железом повозиться, так в мастерских и остался, местным Кулибиным стал. Не гляди, что работа грязная, он всегда как на демонстрацию одет, волосы под вязаной шапочкой собраны, голубые глаза ни от какого мазута не помутнели

– Что ты так подозрительно на меня смотришь, Григорий Яковлевич?

– Айда в машину, поговорить надо.

Сели. Гурушкин не знал, как начать, Гавриил опередил, тяжело сказал:

– Ты не насчет Ромки молчишь?

– Только что узнал. Давно с ним такое?

– С весны. На соревнования они ездили в район, там спонсор, торгашка, да ты ее знаешь, она все потребсоюзские магазины скупил, устроила прием для победителей. Там и попробовали зелья, трое наших было. Все сейчас в одной поре. Когда заметил, и к знахарям возил, и в областной диспансер – только деньги рвут, а толку никакого. Две недели терпит и срывается.

– Берет где и на что, не следил?

– У Хасана, который автомастерскую держит, ты видел, какой коттедж он отгрохал. Там сплошь неруси, я заходил, хыр—хыр между собой, для вида пара «жигулей» разобрана. Говорить со мной не стал. Я еще не отошел и ста метров, как к нему начальник милиции подъехал, чуть из кабины не выпал, так торопился дающую руку пожать. А мои дела совсем плохи, Ромка вчера телевизор вынес.

Помолчали. Гурушкин спросил:

– Что делать будем, нельзя же так вот сидеть и ждать... неизвестно чего.

– Не знаю, Григорий, тебе не заметно, и слава Богу, а я этот круг черный вокруг себя уже давно вижу. Вот так и кончат нас потихоньку... Ладно, пойду я, надо муфту собрать, да домой, какой он сегодня?

– Подожди, Гавриил, как там мужики, пьянки нет?

Корчагин безнадежно махнул рукой и ушел, Гурушкин следом пошел в цех. Вокруг лежащего на боку старого шкафа сидели несколько мужиков, на фанере стаканы, куски хлеба, сало. Все немного хмельные, директору не обрадовались, но и не испугались.

– Не ругайся, Григорий Яковлевич, уже конец рабочего дня.

– Да это бы ладно, только, судя по физиономиям, не первый день в колее. На что пьете, ведь деньгами уж не помню, когда рассчитывали, все то мука, то сахар?

Один из слесарей, из-за малого роста прозванный Шкалик, вынул из пространства между стеной и шкафом пару пустых пузырьков:

– Вот, пожалуйста, лучше любых коньяков, а стоит – раз плюнуть. Один пузырек на пол-литра воды, и всем хорошо.

Гурушкин взял пузырек, пробежал глазами по этикетке: композиция, для наружного применения, на основе технического спирта.

– Вас травят, ребята, неужели не ясно? Через год мужика в себе не найдете, а через два ослепнете.

Шкалик возмутился:

– Не надо пугать, товарищ начальник, это государство выпускает для тех несчастных мужиков, которых руководство не обеспечивает зарплатой.

– Ладно, спорить не о чем. В цехе больше не пить, я приказы писать не люблю, но подход найду, вы знаете. А гадость эту забудьте, гробят нашего брата сознательно, а мы как кролики в пасть удаву...

Гурушкин из кабинета позвонил главе района Хлопову, хотя предполагал, что тот не захочет вмешиваться в столь сложное дело: характер не тот.

– Вадим Лукич, не думаю, что только у нас такая беда, может, обратиться, обсудить, надо же что-то делать!

Хлопов помолчал:

– Честно говоря, Григорий Яковлевич, эта проблема меня напрямую не касается, да и как-то милиция об этом помалкивает. Неужели у тебя так плохо?

Гурушкин взревел:

– Это у тебя плохо, гаже некуда, если казахские машины ночами прорываются через границу именно на нашем участке, зельем торгуют почти открыто. Если вся торговля завалена флаконами с отравой. Деревня же спивается и гибнет! А ваша милиция делает вид, что ничего не происходит. Тебе это не кажется странным?

Хлопов обрадовался:

– Вот и обратись к начальнику милиции, я тебе еще раз говорю, что структуры федеральных ведомств местной власти не подчиняются, так что нет разницы – я пойду или ты.

– В таком случае, извини, конечно, нахрена нам такая власть? – Гурушкин резко бросил трубку.

Недавно назначенный из заместителей начальник милиции Зыков никогда не был у Гурушкина в числе уважаемых. Не выветривалась из памяти история, когда тот, в бытность участковым, во время сенокоса выехал за село и встречал всякий транспорт, везущий с лугов уставших людей. Рассказывают, что остановил старенького «ижака», был такой мотоцикл с коляской. За рулем пожилой мужчина.

– Почему пассажир без шлема?

– Это не пассажир, это старуха моя, у нее и без каски головенка еле держится. Отпусти ты нас.

– Отпущу, но сначала протокол составим.

И наказал тех стариков на какую-то сумму. Уважения нет, но идти надо, дело того требует.

– Деревни наши наводнили наркотиками, товарищ майор, и травкой везут, и даже героином, есть предположения, что торговцы наши и райцентровские в этом бизнесе замешаны, все зелье из Казахстана через наши земли.

Зыков, молодой еще человек, показался Гурушкину через чур полным, он в кресло едва входил, подбородок расположился почти на груди, закрыв узел галстука.

– Конкретные примеры, факты, фамилии?

– Ну, как вы понимаете, конкретикой не владею, профессия не та, но проблема есть, и люди вашей конторы тоже в этом замешаны, с их помощью курьеры проходят к нам.

– Но фактов нет? – Зыков встал: – Все равно, спасибо, Григорий Яковлевич, за сигнальчик насчет наших, это возмутительно и преступно, лично разберусь!

– Общественность узнает о результатах?

– Конечно. С опубликованием в печати.

Гурушкин не заметил, не мог даже предположить, что майор глумится над его наивностью, что он сегодня же соберет нужных людей и потребует через мордобой усиления бдительности, потому что с каждой партии он, майор Зыков, имеет приличный куш, часть которого уходит в областное управление – делиться не хотелось, но надо, все под погонами ходим.

Вечером Гурушкина нашел Ганя:

– Григорий Яковлевич, разреши пару «Уралов» сегодня на ночь, подежурим с мужиками, может, выскочит кто на нас.

– Милицию не будешь ставить в известность?

– Ну, тогда можно и не выезжать. Тихой сапой пойдем, у меня, ты знаешь, карабин законный, у ребят тоже стволы есть, по горсточке патронов с картечью на всякий случай. Чуть что – резину в клочья, все равно наши будут.

– Кого берешь?

Ганя назвал.

– Я тоже с вами.

– Э, нет, не надо, не барское это дело. Ну, представь себе, директор совхоза в компании с самостийным ОМОНОм. Тебе все до нитки грехи пришьют, а с нас взятки гладки, у меня лицензия на лося не закрытая, я ее перед выездом у охотоведа зарегистрирую, чтобы он просигналить не успел.

– Ты и на него грешишь?

– Тут, Григорий Яковлевич, береженого Бог бережет.

Две машины вышли из задних ворот парковой ограды и на подфарниках двинулись в лес. От казахской грани до деревни десяток километров, и контрабандисты, обойдя пограничников и таможду, уходят лесами, всякий раз торя свою колею, их пяток, уже затрушенных снегом, насчитал Ганя.

– Давай до нашей пристани на Сивирге, оттуда далеко лес проглядывается, не рысьи же у них глаза, все равно фары включают.

Трое в одной машине остались на взгорке, трое на другой пошли к границе. Если перехватят погранцы или тамождня – лицензия на лося поможет, скажет, что блуданули. Остановились, Ганя залез на кабину и все глаза продавил биноклем – нигде ничто не сверкнуло. Но заметил, что от леса несется их «урал» с потушенными фарами, взметывая передком тучи снежной пыли и подпрыгивая на колдобинах.

Славка Пальянов выскочил из кабины прямо на ходу:

– Дядя Ганя, три машины стоят у Гайдуковского колодца, похоже, поломка или время тянут, у одного капот поднят.

– Кузовные?

– Фуры.

– Что делать будем, мужики?

– Надо их до дороги довести, а перед деревней взять.

– Как?

Славка оживился:

– Между Гайдуковой и Кушлуком большак узенький, я их обойду, а потом поперек встану.

Помолчали.

– Риск, Славка, а вдруг серьезные ребята, с автоматами, куда мы потом?

Славка обиделся:

– Тогда, дядя Ганя, поехали домой, что тут мерзнуть да солярку палить?

– Обожди, а если это нормальные машины, есть же торговля! Наскочим, а у них все в порядке. Тогда что?

– Тогда нормально, проверим документы и пожелаем. Только, дядя Ганя, честные ехали бы напрямую, через посты. Эти паленые, чую!

Встали за фермами в Гайдуково, дождались, пока три фуры, мягко покачиваясь, прошли мимо, пристроились в хвост. Фуры вели себя спокойно. Славка изловчился, включил поворотные фонари и пошел на обгон, рискуя свалиться в кювет. Обошел, прибавил скорость, и лихо развернулся на повороте, ни с той, ни с другой стороны не обойти.

Фуры остановились, из первой машины вышел мужчина в комфляже:

– Что так неосторожно ездешь, сынок, помочь тебе в колею встать?

Славка стоял на подножке и молчал.

– Давай трос, – крикнул комфляжный.

– Не надо! – Славка справился с волнением. – Не надо трос, мы специально вас остановили, чтобы документы проверить.

– Вот как? Вы не из ФСБ случайно?

– Да нет, совхозные мы... Короче говоря, дядя, документы на груз и полный досмотр. –

Славка наглед на глазах.

Ганя с напарником вышли из кабины и встали рядом со Славкой. Комуфляжный не мог видеть еще троих, стоящих сзади. Стволы проверяющие даже не прятали. Из фуры никто не выходил, комуфляжный один вел переговоры:

– Ребята, а вам не кажется, что вы превышаете полномочия простых сельских тружеников?

Ганя вышел вперед, почти нос к носу с комуфляжным. Успел заметить мусульманское лицо:

– Нам с некоторых пор вообще ничего не кажется. Парень правильно говорит, тряпки нас не интересуют, а вот зелье будем искать вплоть до выхлопной трубы.

Он видел, что сзади подтягиваются и свои и чужие. Гавриил предложил:

– Сдайте наркоту, калоши нас не интересуют.

Ответил маленький, коренастый, по голосу – кавказец:

– Что ты, дорогой, у нас этой гадости никогда нет, клянусь мамой, товар везем, обувь— одежда из Китая. Конечно, контрабанда, ваша взяла, мы готовы заплатить за проезд. Сколько?

Гавриил подвел итог:

– Значит, до утра будем стоять, вызовем прокурора.

Кавказец был ласков:

– Зачем до утра, давай прямо сейчас вызовем.

Комуфляжный казах вмешался:

– Ребята, я смотрю, вы нехорошую инициативу проявляете. Слушайте и попробуйте понять: в три утра мы должны быть в вашем районе и оттуда уйти на Север. Наш товар там ждут. Мне еще объяснять или уже дошло?

Двое вышли из-за его спины с автоматами, деревенские брякнули курками ружей. Комуфляжный пытался разрядить напряжение:

– Нихрена не понимаю, вы что, на смерть готовы идти по чьему-то глупому приказу? Давайте договоримся.

Гавриил глухо ответил:

– Не приказа чьего-то, а собственных детей ради. Вы детей наших травите, как это возможно терпеть?

– Еще раз говорю, – у комуфляжного казаха хватало терпения. – У нас товары народного потребления, залезь в фуру, проверь.

– Ну да, ты колготки с трусиками с автоматами охраняешь. Кончай херней заниматься, стволы на снег!

– Отставить! – крикнул комуфляжный. – Ждем до утра, если в три мы не подойдем, они выедут навстречу.

– А с этими что делать?

– Пусть менты разбираются, их территория. Да проще простого, составят протокол на незаконную охоту и в суд.

– Почему ты решил, что мы вот так просто согласимся на браконьерство? Вы-то здесь!

Кавказец взревел:

– Идиот, у тебя выхода другого нет! Это мой район, моя трасса, и все ваши борзые чиновники лизут мою задницу, потому будешь делать все, как я скажу, иначе в клочья разорву!

Он схватил автомат у стоящего рядом охранника и дал длинную очередь в сторону Славкиной машины. «Урал» загорелся. Славка метнулся к огню, но получил удар прикладом по голове. Корчагин выстрелил в ногу кавказцу. Над его головой просвистела автоматная очередь. Ганя крикнул:

– Ребята, назад, за машину, мы их не подпустим! – Ганя на бегу прострелил передние колеса всех трех фур, спрятался за задним бортом последней. Подбежали ребята. Ганя тряхнул левым рукавом, кровь пропитала даже полушубок. Боли не чувствовал.

– Славки нет, – сказал кто-то.

– Мужики! – Крикнул Ганя. – Там наш паренек раненый, не берите грех на душу, притащите его, мы не тронем, слово даю.

– Видел я твое слово, – ответил кто-то из темноты. – Сдох ваш герой, наверно, не слышно его.

– Сам ты сдохнешь, сволочь! Притащи парня, это тебе зачтется.

– Нет, никто не пойдет, – вмешался кавказец. – Вы хотели стычки, вы ее получили. У нас на Кавказе за смелость тоже надо платить.

– Ты бы Кавказ не трогал, обосрали вы Кавказ, вам и за трусость уже платят хорошие бабки.

Пучок света от ярких фар стал рисовать на темном небе рельеф деревенского большака. Ганя понял, что едет эскорт, как вести себя? Кто приедет?

Из кювета выполз Славка, Ганя бросился к нему:

– Живой, сынок! Живой!

– Да что мне сделается? Отдышался, выбрал момент, пополз самой канавой, по-пластунски, как учили отцы-командиры и чеченские боевики.

«Уазик» остановился перед догорающей машиной, вышли двое, двое из гостей что-то им горячо объясняли. По характерному щелканью Ганя понял, что будут говорить через мегафон:

– Я начальник милиции майор Зыков, знаю, что вы вооружены, потому предлагаю опустить оружие и дать мне возможность подойти.

Ганя крикнул:

– Проходите, товарищ майор, только один.

Зыков освещал лица мятежников фонариком, но никого не узнавал:

– Машины из Лесного совхоза, вы тоже оттуда? Понятно. И кто вам разрешил проводить такую, с позволения сказать, операцию?

– А мы никого и не спрашивали, – ответил Корчагин, поддерживая на весу раненую руку. – Задержите их, товарищ майор, наркотики у них точно есть, такие парни калошами не торгуют.

Майор скомандовал:

– Спихните горелую машину, освободите дорогу, все за мной до центральной усадьбы. А вы, – это гостям – ставьте запаски и догоняйте.

Колонна не спеша тронулась с места схватки. Зыков по рации связался с отделом:

– Машину для шести арестованных с охраной к конторе Лесного совхоза.

Когда к остановившимся машинам бросились милиционеры с автоматами, Гавриил встал на подножку и крикнул тем, кто в кузове:

– Не сопротивляйтесь, здесь все свои, разберемся.

Их разоружили, Корчагин подозвал Зыкова:

– Товарищ майор, прошу засвидетельствовать: только из моего карабина сделаны четыре выстрела, больше никто оружия не применял.

– А это мы сейчас проверим.

Зыков поднял двустволку, взвел курки и выстрелил дуплетом:

– Засветите остальное оружие, – дал команду своим подручным. И к Корчагину:

– Я единственное могу сделать для тебя снисхождение – оформить браконьерство, это штраф и условный срок. Согласись, что нападение на колонну машин чужого государства будет стоить гораздо дороже.

– Вы что, нас собрались судить? А эти? – Он кивнул на подошедшие машины. – Вы будете их обыскивать, ведь они почти признали, что наркотики везут? Майор, это государственное преступление, и вы за него ответите.

– Не перед тобой ли? – Зыков резким ударом свалил Ганю, махнул своим, упавшего подняли. Зыков подошел поближе и в самое лицо прошептал: – Пройдешь по суду как браконьер, возможно, вообще отпущу, но если вякнешь хоть слово про наркотики – раздавлю. В машину их!

Ранним утром Зыков говорил по телефону с кем-то из области, коротко объяснил ситуацию. Собеседник был взбешен:

– Я тебя предупреждал об осторожности, ты меня заверил, что проблем не будет. Мужиков этих надо было еще в лесу закопать, за каким хреном ты их привез в отдел? Что, судить будешь? Не будь глупее, чем на самом деле. Уберите товар, все барахло в присутствии этих бдительных крестьян перетрясите на дворе отдела, пусть убедятся, извинись в присутствии личного состава. Снимите на видео. Морды бил? Молчишь? Идиот, кто тебе майорские погоны повесил, тебе самое место в участковых! На колени вставай, оборотень несчастный, проси прощения, деньги заплати, но чтобы после этого гробовая тишина. Маршрут пока закрыть, есть запасной. Все, свободен.

5

Семен Федорович пришел домой, прошелся свежей метелкой по влажной ограде, заглянул в горенку, где вот уже полгода не вставая, лежала жена. У него не было к ней никаких чувств, ни дурных, ни добрых, как не было их и в первую брачную ночь после скоропостижной свадьбы. Соседка за скромную плату ходила за умирающей, и все ждали конца. Жена позвала:

– Семен, зайди. Отмаялась я, ночью отойду. Клавке наказала, она придет ночевать. Тебе сказать... Прощаю тебе все, и холодную постель, и баб других прощаю. Ежели что, Дарью в дом приводи, ты же по ней сохнул. А таперика иди.

Семен вышел, сел на крыльцо. Стало тоскливо и обидно за жизнь свою исковерканную, стыдно стало, что винил во всем Авдотью, даже бивал, грешным делом, по пьянке. За что – не мог сказать, зло вымещал. Человек часто так делает, находит безответного, сорвет зло, и как ни в чем не бывало. А бессловесный терпит до поры, потом возьмет топор, и отсекает обидчику голову, как в прошлом году Витька Сибиряк Кольке Парापону, чистенько отрубил, как арбуз, отскочила. Смертное все у Авдотьи собрано, тес на гроб есть, могилу копать – завтра мужиков собирать надо. Взял сумку, добрал до магазина, купил по пять бутылок вина и водки. Продавщица понимающе молчала, гремя мелочью.

Сема свою старуху похоронил тихонько и остался один в стареньком пятистенном домишке. Наказ покойной сойтись с Дарьей он исполнять не спешил, да и побаивался: вдруг не пойдет, только славы наделаешь на всю деревню. Варил себе супчик-пластанку, это когда картошка пластиком настрогана, заправлял пережаренным луком, хлеб брал в магазине, чай с сахаром пил.

Вот неожиданно как может куражиться жизнь с человеком, весь век прожили как чужие, а похоронил Авдотью – и пусто стало, слова не с кем молвить, нельзя сказать, что тосковал Сема, нет, просто пусто, и все тут.

На сельмаговском крыльце прислушался к разговорам: Гани Корчагина сына Ромку ночью в районную больницу увезли.

– Перенасытили зельем, свернуло его, – шепнула соседка. Сема сумку под мышку и в контору, Гриша лучше скажет.

– Передозировка наркотика, Семен Федорович, так это теперь называется, час назад говорил по телефону с врачом: плохи дела, иными словами, не выжить ему.

– Ганя там?

– Оба с Галиной там, но в палату не пускают.

Сема помолчал, смахнул слезу.

– Ты бы, Гриша, поехал туда, не дай Бог – случится – все хоть один человек рядом будет.

Гурушкин с благодарностью посмотрел на старика:

– Ты прав, прямо сейчас и поеду.

Ну и съездил, вовремя, к его приезду родителям уже объявили, мать сомлела и до сих пор без сознания, отец закаменел, ни слезы, ни слова. Поздно вечером вышел врач, отозвал в сторону Гурушкина:

– Поезжайте домой, Григорий Яковлевич, мы обоих оставим, с матерью не все ладно.

– С сердцем плохо?

Тот сказал тихо:

– С головой. Не в себе она. До утра будет спать, а там посмотрим. Раньше можно было санавиацию вызвать, а теперь в область везти – бензина может не оказаться.

Гурушкин остановил:

– Ты говори толком, куда везти, я машину пришлю. Ты сам-то определился, что с ней?

– Григорий Яковлевич, ну, что тебе попроще сказать: рассудка лишилась женщина, и, похоже, очень серьезно.

Ганю увели в процедурный кабинет, напичкали уколами, и врач убедил остаться в палате до утра. Про жену сказал, что с сердцем плохо, спит после капельниц. Ганю тоже скоро свернуло снотворное.

Утром все открылось. Ганя почернел, попрощаться с Галей, которую отправляли в область, его не пустили, Гурушкин увез его в деревню. В доме уже собралась вся родня. Говорили в полголоса. Тетки собрали одежду и поехали снаряжать парня.

Сема стоял в сторонке, всем кивал, в разговоры не ввязывался.

К обеду привезли Ромку. Лежал в гробу, будто шутки шутил, того и смотри – улыбнется. Ганя сел на табуретку у изголовья и не поднимался до вечера, все смотрел на сына. Гурушкин не мог вынести этого молчаливого взгляда, пытался заговорить с товарищем, но Ганя молча отводил его рукой.

На кладбище, когда уже собирались объявить прощание, в похоронной тишине неожиданно заговорил Гурушкин. Голос его, обычно ровный и спокойный, был звонким и надрывным:

– Этот наш парень убит не только подонками, которые дали ему яд, он убит государством, которое отвернулось от своего народа, убит властью, которая никак не может насладиться возможностью порулить страной. Мы уже знаем людей, которые руководят наркотиками в наших краях, и я клянусь, что мы выведем их на чистую воду. Перед памятью Романа клянусь, что так и будет.

Сема тоже бросил три горсточку мерзлой глины на красную крышку гроба. Дарья прошла следом за ним, отошла в сторону, знаками позвала Семена.

– Ты бы передал Григорию Яковлевичу, что две машины чужих, иномарочных, подъезжали к конторе.

– Что за личности?

– Не наши. Да и, похоже, не из района.

– Передам.

– Горячий обед в столовой будет, знаешь?

– Теперь знаю.

– Сходишь?

– Воздержусь. Я этого парня и так никогда не забуду помянуть, а панафиду хлебать, шутки в сторону, не время.

И он пошел в сторону деревни.

Вечером постучал в калитку к Славке Пальянову, тот вышел, на ходу запахивая полушубок.

– Дед Сема, тебе чего не спится?

– Успеет, Вячеслав, ты мне вот что скажи: людей тех, в лесу, ты в лицо узнавать можешь?

– Не знаю, разве что двоих.

– Ты завтра ребят опроси, с которыми бандитов ловили, чего они успели заметить?

– Дед Сема, ты в следствие подался, что ли?

Сема возмутился:

– А ты как хотел? Чтобы наших парней вот так запросто мерзлой землицей зарывали, чтобы всяк мог тебя по шее прикладом двинуть? Надо всем собраться и писать в прокуратуру, прокурор-то – э-э-э, брат, это тебе не секретарь райкома, он стакан чаю предлагать не будет, сразу деляну отведет на Северном Урале!

– Дед, а ты, однако, там бывал?

– Не лезь на зло, а бумагу такую писать надо, и прежде показать ее Григорию Яковлевичу. А я теперь же к нему.

Гурушкин вышел на ярко освещенное крыльцо, увидел за калиткой Сему, спустился, открыл засов.

– Ты почему не спишь?

– Какой сон, Гриша, ты знаешь, что на двух машинах приезжали, черных и красивых, пока мы Ромку хоронили? Не знаешь! А я кумекаю, что это от тех фигур посланцы, да не по твою ли душу? Ты поостерегся бы вот так живчиком на всякий стук на крыльцо выскакивать. Да еще мужики, которые в засаде были, гумагу пишут прокурору, ты ее посмотри. Ганя-то как?

– Никак. Ни слова не сказал за весь день, рюмки не выпил и слезы не проронил. Я вечером говорил с главврачом, Галя сильно плоха, рассудком помешалась, психиатры считают такой вариант почти необратимым.

До чего же больно ранило Семино сердце горе Ганиной семьи! Домой пришел, не включая свет, прилег на кровать, Ромку помянул, про Галю подумал хорошее, чтоб ей полегче стало, и Ганя вдруг нарисовался, это уж точно, задремал Сема, а Ганя веселехонький, чуть не в припляс, рукой ему машет, мол, до скорого свидания, Семен Федорович!

Сему ободрало, сна как не было, не к добру это, ой, не к добру, не вынесет ретивое, сотворит что неладное. И – ноги в пимы, шубейку на плечи, выскочил на улицу. Ганин дом со всех сторон освещен, все вроде тихо, Сема уже к воротам подошел, как глухо охнул выстрел. С минуту никого не было, потом на крыльцо вышли братья, мужья сестер.

– Вроде стрелял кто?

– Да нет, показалось.

– А Гаврила-то Романович где у вас? – Заорал через забор Сема.

– Ктой-то там кричит?

– Правда, а Ганя где? В доме его нет.

Калитка брякнула, Семен влетел в ограду, мимо опешевших мужиков кинулся в мастерскую. Любил Ганя послесарить, посамодељничать. И в последний раз сам все изладил, два крупных гвоздя в верстак вколотил, закрепил курок своего карабина, к сердцу измученному своему ствол приложил и дернул на себя. Осечек оружие у хорошего хозяина не дает.

6

В школе неожиданно прекратили кормить ребяташек, Анастасия пришла домой возмущенная и требовала от мужа хоть каких-то действий. А он уже ничего не мог изменить, и так вопреки установкам района и области полгода выделял для школы муку и мясо. Его возмутило, что не просто перестали готовить горячие обеды «в связи с нехваткой средств», например, а вообще столовую закрыли, печи отключили и поваров уволили.

Заведующая отделом образования только заплакала в ответ на его претензии. Он положил трубку и подумал: «Из названия отдела образования убрали слово «народного», и из названия суда убрали, а вот экономику даже большие вожди иногда называют «народным хозяйством», хотя все принадлежит частным лицам, не весть откуда взявшимся «олигархам».

Через два дня Гурушкин по делам был в райцентре и зашел к Хлопову.

– Здравствуй, здравствуй, возмутитель спокойствия, – он подал руку, и Гурушкин легонько пожал мягкую и влажную ладонь, похожую на оладью. – Ты и на этот раз с проблемами? Кого защищаешь?

– Детей. Это же безумие: в таких условиях закрыть столовую в школе. Для многих ребяташек это единственная возможность прилично поесть.

– Ну, ты наговоришь!

– Вадим Лукич, ты или не знаешь или вообще ничего не хочешь знать, как люди живут. Что с тобой происходит? Клубы позакрывали, участковые больницы ликвидировали, школы объединили. Я уже не говорю про экономику, хозяйства разорены, банкроты. Это с какой стати? Мы что, работать разучились? Ты губернатору задавал вопрос, почему цены на горючее прут? Не задавал. У вас теперь это не принято, велено приятности нашептывать.

– Ты говори, да не заговаривайся.

– А ты меня не пугай. Известно тебе, что в некоторых семьях дробленую пшеницу к обеду запаривают, как раньше свиньям? Почему жалкие пособия на детей и матерей на три месяца задерживаются? В бюджете заложены средства – где они? Меж банками проценты нагуливают?

Хлопов заерзал в кресле:

– Ты же знаешь, что налички в стране не хватает, инфляция прет, цены растут каждый день.

– А ты должен знать, почему такое случилось. Вы зачем губите колхозы и совхозы, закрываете фабрики и заводы? И я считал, что не все ладно в экономике, но ошибки исправляют, а не взрывают страну, как интервенты.

Хлопов напрягся:

– Твой совхоз кто губит? Ты сам. Вместо того, чтобы закупить удобрения и гербициды, ты выдал зарплату. Добреньким хочешь быть, а урожайность потерял, отрасль нерентабельна. Далее. Я предлагал тебе сдать свиней, они экономически невыгодны, нет, ты держишь, несешь убытки и держишь.

– На этой свиноферме вся деревня Кушлук работает, только тем кормятся. Закроем ферму – пропадет деревня!

– А ведь все закроем, Григорий Яковлевич, и я первым буду настаивать. Мы создадим частное сельхозпроизводство с высоким уровнем организации труда, высокой производительностью, большими доходами. Это будут современные агрокомплексы, не хуже зарубежных.

– Создавайте, флаг вам в руки, пусть они силу набирают, а пока дайте возможность нам работать, мы будем давать продукцию. Хозяйство и село друг без друга не могут, это же аксиома. А, впрочем... Что будем делать с питанием детей в школах?

– Слушай, Гурушкин, не садись не в свои сани. Нашелся заступничек народный, он за людей, а все остальные против. Ничего не случится, есть пособия, есть родители, они обязаны обеспечить нормальное питание своих детей. И довольно об этом.

Гурушкин смотрел на этого невысокого толстенького человечка, которого знал много лет и никогда не уважал, даже когда в ранге директоров встречались за одним столом, но Хлопов отводил взгляд, он никогда не глядел в глаза собеседнику, об этом все знали. Не очень умен, но хитер, к должностям вроде не стремился, но всегда занимал их. Был агрономом, заочно окончил экономический факультет, в райкоме это заметили и двинули на директора. Как раз в это время областная контора «Скотопром» создавала на местах хозяйства по откорму молодняка на базе небольших совхозов. Гурушкин знал, что в некоторых районах такие совхозы действительно стали экономическими гигантами, на откормочных площадках стояло до десяти тысяч голов скота. Хлопов таких высот не брал, он собирал по хозяйствам телят, летом пас их на дармовых выгонах, а к зимовке хозяйства завозили ему сено и зернофураж – в соответствии с количеством переданного скота. Но система распределения доходов была так запутана, что хозяйства оставались при своих интересах, а откормочный совхоз получал миллионные прибыли. Пока с этим безобразием разобрались, Вадима Лукича выдвинули вторым секретарем райкома партии.

Уже в машине Гурушкин улыбнулся своим мыслям: три раза меняли в районе председателей райисполкома, и ни разу не возникла кандидатура Хлопова, видимо, в верхах поняли его очевидную бесперспективность, но он не протестовал, сидел, ждал и дождался в очередной раз: было официально объявлено, что вся власть от райкомов переходит к советам народных депутатов. Накануне организационной сессии совета, на которой, согласно решению пленума райкома партии, председателем райсовета должны были избрать первого секретаря, Хлопов в течение суток повстречался со всеми депутатами, кто по разным причинам мог иметь претензии к первому, уговаривал, обещал, грозил. Результаты тайного голосования озадачили всех: с перевесом в один голос победил Хлопов. У него руки дрожали, и голос срывался, когда он уже за столом президиума говорил благодарственные слова. Закат района обозначился.

Гурушкин мог бы вспомнить «дачу согласия», так назвала заметку областная молодежная газета о заседании районного совета по даче согласия на назначение Хлопова главой администрации района. Совет собрали в экстренном порядке, как будто что-то важное случилось, но собрались почти все, потому что в депутатах пребывало все большое и малое районное начальство. Хлопов сам зачитал телеграмму главы администрации области Шафраника о даче согласия. Гурушкин предложил повестку дня изменить, принять «О главе администрации района» и не ограничиваться кандидатурой Хлопова. Это Шафраник, он ни разу в районе не был, знает только Вадима Лукича, а мы-то с вами пошире видим. Потому надо сейчас выдвинуть несколько кандидатур, а люди у нас есть, и мы их знаем, затем объявить перерыв до завтрашнего обеда, обсудить кандидатуры в трудовых коллективах, встретиться с избирателями, а завтра собраться и принять решение.

Хлопов настороженно встал и потряс телеграммой:

– Товарищ Шафраник требует сообщить кандидатуру уже сейчас.

– Не смешите людей, Вадим Лукич, у нас же не чрезвычайная ситуация, все идет нормально: коммунистов запретили, советы вот-вот прикроют, Белый дом ремонтируется – куда спешить? Я прошу поставить мое предложение на голосование.

Но – проголосовали против. Когда Хлопов, уже чуть отошедший от шока, объявил решение, Гурушкин еще раз поднялся, повернулся к залу:

– Не пройдет и года, как вы признаете, что я был прав.

В гробовой тишине он прошел по проходу и хлопнул дверью.

Наверное, так выходит кровь из живого существа, унося с собой по капельке его будущее, разум и силы, так постепенно терял равновесие совхоз «Лесной». Закувыркались цены,

не стало партнеров по обслуживанию, поставкам, возник бартер. Ух, как ненавидел он эти новые горбатые и лающие слова: ваучер, вексель, дисконта – потому что чужды были они его языку, привычной его экономике.

Так на скользкой дороге, покрытой тончайшим коварным ледком, водитель теряет уверенность, осторожничает, и в самые критические моменты полагается на волю судьбы. Суровый реалист, Гурушкин не видел другого результата происходящих процессов, кроме потери хозяйства. Что будет на его месте, и будет ли – он боялся думать: слишком суровые почвенные условия, это хлебородные хозяйства быстро прибрали к рукам. Была мысль уйти сразу, чтобы не видеть гибели всего, что создавал вместе с коллективом все годы, но он сам испугался этой мысли: а люди как же? Бросить? Чем вспомнят потом? Понимая, что спасти ничего нельзя, он делал все, чтобы полегче для людей это происходило.

А реформирование широкой волной шло по краю, сметая остатки социализма. Соседний совхоз распустили за один вечер, выдали справки на паи и доли, создали два десятка крестьянских хозяйств. Пару лет они промучились, залезли в долги, теперь осталось пяток.

Другой совхоз поделили специалисты во главе с директором, создали четыре кооператива, каждому досталось по деревне. Директорский кооператив область одарила техникой и кредитами, которые потом списали.

Вадим Лукич Хлопов в дела хозяйств не вмешивался, редкие совещания проводил начальник сельхозуправления Дымчаков, поговаривали, что родственник большого областного начальника. На все упреки Хлопов прямо заявлял, что его забота – бюджетная сфера, все остальные должны работать самостоятельно, на самообеспечении. Ничего неожиданного в таких словах не было, точно такую же позицию занимало областное руководство.

7

А начиналось все интересно. Три маломощных, как тогда говорили, колхоза объединили в один совхоз и назвали его «Лесной», правильно назвали, потому что, если честно посмотреть, никаких богатств, кроме леса, в том совхозе не было. Земля не особо плодovита, супесь, лесные разработки, подрастратившиеся за годы, только навозом перегоревшим и можно было пашню спасти.

Когда границы районов нарезали в последний раз, оказался Лесной совхоз узеньким клинышком области, вдающимся в Казахстан, а там уже другая союзная республика, с ней транспортную связь держали на других участках. Оказалось – тупик. Многие директора бились, чтобы дорогу от райцентра до совхоза сделать – ничего не получалось. То Карибский кризис, то вьетнамский, то нефть надо добывать, то газовую трубу тянуть для ненавистных капиталистов. Так и остался большачок, грейдер, как мужики назовут. Зимой надо после каждого снегопада чистить, в теплое время ведро воды вылей на дорогу – до обеда машины не пройдут.

Гурушкин круто начал свою работу директором, большак расширил и укрепил, стал дома строить, но специалисты в деревню не ехали, ни сельскохозяйственные, ни врачи, ни учителя, дурная слава за околицей района, конец земли, на службу – только в порядке наказания. Да еще новый первый секретарь, впервые побывавший в хозяйстве, в докладе на пленуме неосторожно назвал лесной край глухоманью. С тех пор как прилипло: Глухомань, не скажут: Лесной совхоз или село Дубинное, а Глухомань.

На первой неделе своего руководства собрал Гурушкин управляющих и бригадиров, зоотехника пригласил, один из специалистов остался в совхозе. По всем делам поговорили, механики заявили, что надо тракторы на ремонт определять.

– А вот тут погодим. Сколько у нас тракторных телег? Да самосвалов восемь, бульдозер и погрузчик есть. Давайте, пока снег все не спрятал, вывезем перегной, полно его на летних стоянках, вокруг каждой фермы. А свежий навоз сбуртовать и прикрыть как следует. Без органики нам хлеба не видать.

Съездил в «Сельхозтехнику», попросил помочь машинами, не отказали, направили отряд. Половину полей закрыли слоем перегноя, уже в первую осень эти поля дали почти двойной урожай. А Гурушкин умудрился договориться с председателем соседнего колхоза, который уже года три органикой не занимался, потому что родной племянник стал большим человеком в областном управлении, сидел на химикатах, фонды ему выделял такие, что тот не успевал выбирать. Всю осень возили оттуда перегной, ублажили свои поля, никогда они столь органики не видели. Хорошо обрабатывали пашню, но сорняк лез, пришлось в школу обращаться, чтобы ребяташки прошлись по полям и продергали раннюю зелень. А польза велика, со временем совхоз вплотную подтянулся к стопудовому урожаю, а шестнадцать центнеров с гектара – это не просто мечта, а непостижимый был, немислимый показатель.

Высмотрел в Омской области, какой сенаж люди закладывают, зерно в восковой спелости, а не жалеют, потому что все для молока и мяса.

Проездом короткой дорогой из Казахстана с деловой встречи в Лесной заехал первый секретарь обкома партии. Гурушкин, конечно, о важном госте ничего не знал, в кабинете с бумагами работал, даже оторопел, когда увидел вошедшего. Они не были знакомы лично, но Первый без условностей пожал руку, спросил имя-отчество, попросил рассказать о хозяйстве. Гурушкин говорил с полчаса, на ходу выстраивая систему, чтобы не скакать от темы к теме. Секретарь обкома молча слушал, что-то помечал в блокноте.

Спросил неожиданно:

– Столовая у тебя есть?

– Конечно, Геннадий Павлович.

– Попроси женщин, чтобы уху сделали хорошую и грибов достали. Смогут? Вот и славно, а то казахи закармли мясом.

За столом, похлебав с аппетитом горячей наваристой ухи из сырка, карпа и карася, отдав три вида грибочков Настенькиного приготовления, Первый вернулся к хозяйственным делам:

– Подготовь записку на мое имя со всеми выкладками, что надо построить, какую технику приобрести, по жилью, по дороге. Дадим все, ну, или почти все. Но имей в виду, это не подарок, это вложения с расчетом на отдачу. Следовательно, приложи расчеты, как сумеешь увеличить производство и продажу продукции. Деньги народные, швыряться ими не след. Меня не провожай, пока ты распорядился обедом, я твоих райкомовских начальников нашел, уже подъехали, наверное, так что я с ними еще поговорю. Да, о записке никому ни слова. Будь здоров!

Он крепко пожал руку Гурушкина и первым вышел из столовой.

Через пятилетку, хоть совхоз и назывался Глухоманью, но ордена стали давать рабочим, и директора не обошли, вручили Трудовое Красное Знамя. Средства стали отпускать хозяйствам такие, что только крутись, осваивай, строй, что требуется: школу, магазин, клуб. Две улицы домов для рабочих поставили, одну назвали улицей Ранних Зорь, потому что рановставы поселились, животноводы да механизаторы, кому до семи часов можно потягаться, а эти в пять уже на работу идут.

После записки в обком, которую Гурушкин сдал в приемную сам, к нему приехала большая бригада, он было струсил, но гости относились уважительно, один мужичок тихонько признался, что лично Первый поручил. Все посмотрели, просчитали, и старший сказал, что Гурушкин будет приглашен на бюро обкома.

Как в тумане помнится ему это заседание, предложения все были поддержаны, утвердили программу развития Лесного совхоза и Дубининского сельсовета. Нельзя сказать, что блага рекой полились, но помогли все ведомства, через год совхоз не узнать: половина тракторов новых, половина комбайнов с иголки, фермы переоборудовали, по деревне асфальт. А вот на дорогу от райцентра времени не хватило, началась перестройка.

Гурушкин часто упрекал себя, что не сдал дела в самом начале, ведь чувствовал, почти знал, что развал неминуем, но остался. На что надеялся – сам не знает, хотел сохранить социализм в отдельно взятом совхозе. Не сохранил...

8

Семен Федорович всю войну отвоевал, как посевную или уборочную отработал, сам дивился: ребята рядом гинут или каких членов лишают, а его не берут ни пуля, ни осколок. Вперед шибко не бежал, но и сзади в толчки не подгонял никто, «За Родину, за Сталина» – только рот разевал, не орал, все сглазить боялся. Короче говоря, к демобилизации у солдата ни ранений, ни медалей, одну какую-то повесил ротный, но Сема и ее спрятал. Так ни с чем и явился в деревню.

Писали ему из дома, что гнездо Безбородихинское совсем разорили, Мартемьяна посадили вместе с приказчиком, имущество конфисковали, дом нечаянно сгорел, Дарья к тетке уехала в город, да там и замуж вышла. Странное дело – не горевал Семен, вроде такая любовь была, хоть в петлю, а случилось, ну и пусть так будет. А жениться шибко охота, в освобожденных городах и селах Семен тоже не стеснялся, в наших пределах простым приемом пользовался солдат: увидел девку полных лет или бабу молодую, подмигнул пару раз, если понятливая – хохотнет, подолом поиграет, айда, мол, следом. А на иностранных землях страшновато стало, приказ за приказом, и не про наступление или вылазку, а чтоб баб ихних не трогать. Да ведь до того дошло, двоих парней, сказывали, в соседнем батальоне трибунал к стенке лицом поставил. Тут поневоле все хозяйство в живот втянет, по легкому соберешься – вспотеешь, пока отыщешь.

А с Авдотьей на сенокосе встретились, в одном кругу сено метали, Семен на стог подает, Авдотья приминает, утаптывает, вершит. Платьишко на ней широкое, то и дело подол на голову закидывает ветром, почти все Семка высмотрел. Когда стог завершили, снял он Авдотью по вожжам, аккуратно, чтобы работу свою не нарушить, прижал к стогу:

– Больно на тебя смотреть, Авдотья, выходи за меня.

– Позовешь – пойду.

– А то! Сегодня же ко мне, бутылочка есть, отметим, а в первое же ненастье, когда метать нельзя, в сельсовет ходим.

Бригадиру наказал, чтобы мать баню истопила да ужин изладила погодней. Попарились раздельно, не пошла невеста с женихом. После ужина на сеновал ушли. Крепко обнял Семен молодуху, а та в слезы:

– Сема, порченная я, прошлым летом председатель в лес увозил.

До чего же тошно на душе стало у Семена, последняя мирная ночь вспомнилась, тут, на этом же сеновале, в такую же ночь миловался он с Дашенькой, вся жизнь теперь связана с этой ночью, но перевернулось, перекрутилось бытие. Дашеньки нет, есть Авдотья, к которой, кроме дневной вспышки страсти, он ничего не испытывал. Так и лежал на спине, положив руки под голову, молодожен хренов. Авдотья посопела и уснула. Перед рассветом он разбудил ее, ни слова ласкового, ни поцелуя. Расписаться обещал – расписались, а жили не сказать, как, ни хорошо, ни плохо, но тихо, как соседи.

С Дашенькой он все-таки встретился, она в какой-то городской конторе работала, не особо обрадовалась или вида не подала, но с лица скраснела. Муж начальник, детей двое, дом свой.

– Он у тебя что, больной?

– Здоровый, с чего ты взял?

– Но на фронте же не был?

– Не был, он тут по мобилизации

– Ясно. Мы там кровь проливали, а вы тут ребяташек делали. Интересная разнарядка!

– Ты-то как живешь? Женился, говорят?

– Знамо дело, и так от тебя отстал, надо отработывать. Ты ночку-то нашу не забыла?

Дарья смутилась:

– Ничего я не помню, Сема, так будет лучше.

– Славно! – Семен встал, поскрипел новыми хромовыми сапогами. – А ежели я тебя с ребятишками возьму – пойдешь?

Дарья едва встрепенулась:

– А Авдотья?

– Пойдешь, значит. Так. А я не возьму. Как ты могла ночке той и звездочкам тем изменить? Я что, и с Авдотьей проживу, только запомни, Дарьюшка, из сердца боль не вынуть, нету таких спецов. Я видел на фронте парня, у него прямо из сердца осколок вытащили, железный, и то зажило, а тут память, мыслишка тонюсенькая, а не убрать, кровит. Прощевай.

В обратную дорогу он напился, его с трудом завалили в кузов полуторки, и все дивились: вроде непьющий, а тут нити не вяжет.

9

Страшная новость подняла всю деревню на ноги: совхозная доярочка Нина Гриднева получила письмо от солдата, который служил вместе с ее Генкой.

«Дорогая неизвестная мне мама моего друга Гены Гриднева, пишу вам из отпуска, потому что из части письмо бы не дошло, такие новости с боевых действий не пропускают. Вместе с Геннадием мы были на зачистке небольшого селения в горах, взводный оставил его на окраине, чтобы духи не захватили нас врасплох. Через час мы вернулись, но Геннадия нигде не было. Мы недолго его искали и ушли. А на другой день командиру роты по радиации чеченцы сообщили, что солдат Гриднев у них, предложили обмен на десять автоматов и гранатомет. Командир этого сделать не мог. Тогда те сказали, что примут выкуп в деньгах, что он напишет письмо на родину. Я хорошо знаю Геннадия, он не будет писать вам такое письмо, потому что рассказывал, как тяжело живется вам теперь в деревне и что вам не собрать никогда таких денег. Дорогая незнакомая мама, простите меня за эту новость, но я подумал, что лучше вам знать всю правду. Письмо это уничтожьте, иначе мне будет плохо от командиров. Бачурин Сергей».

Генку только прошлой осенью проводили в армию, он никогда не писал, что переведен в Чечню, Нина перечитывала все его письма, где он все ее успокаивал, что служит при кухне, всегда в тепле и сыт по горло. В военкомате только развели руками: никакими данными не располагаем, требовали назвать источник информации, но Нина, помня предупреждение Сергея, ссылалась на записку неизвестного человека.

Через неделю она получила еще одно письмо из Ростова, почерк чужой, она боялась его вскрывать. Позвала соседку, распечатали, корявыми буквами заполнены полстраницы: «Твой сын у нас, он совершил смертный грех, поднял руку на воинов Аллаха. Его жизнь стоит 50 тыс. дол., срок – месяц, 15 июня приедешь в Ростов, будешь сидеть в зале ожиданий в черном платке, мы тебя найдем сами. Если нет, 16 июня его казнят по законам Шариата. Не вздумай звонить в органы, заметим хвост, застрелим прямо на вокзале и его тоже».

Нина потеряла сознание и упала на пол, соседка, всполохнула ее водой, накапала вальерьянки, побежала в медпункт. Через час о письме знала вся деревня.

– Зиночка, – со слезами просила Нина медичку. – Ты мне скажи, пятьдесят долларов – это сколько?

– Пятьдесят тысяч, тетя Нина, – уточнила Зина. – В рублях это, наверно, полмиллиона.

– Господи, да где же я возьму такие деньги? Что же это творится на белом свете? Как же можно матери родной сына продавать?!

Гурушкин узнал о письме на ферме, куда приехал на вечернюю дойку. Женщины молчали, многие плакали. Гурушкин в бессилии сел на стул.

– Григорий Яковлевич, такие деньги можно собрать? – спросила бригадир Варенька.

– Сам об этом думаю, Варя. В районе около десяти тысяч взрослого населения, если раскинуть – сумма не велика, но не все работают, не все имеют деньги.

– Государство обязано помочь, – робко заметила молодая доярка.

– Могло бы, но нам с вами до государства, до власти, то есть, не достучаться. Надо завтра же объявить по всем отделениям сбор средств, сдавать кассиру под роспись, я такую команду дам. Попробую переговорить с банком, но на это слабая надежда. Работайте, группу Гридневой пустите на раздой. И зайдите к ней, человека два, скажите, что сделаем все возможное.

Весь вечер он провел в кабинете, обзванивая всех руководителей района, никто от помощи не отказался, но каждый говорил известное: наличных денег ни в кассах, ни у людей

почти нет. Все обещали завтра провести собрания на производствах, а в час дня встретиться в администрации района.

Утром Гурушкин едва протиснулся через толпу людей, в основном пенсионеров, стоящих на крыльце и в коридоре. Селиверст Корнеевич, майор в отставке, учитель, а теперь председатель совета ветеранов, вышел вперед и подал директору руку:

– Вот, узнали, кто как, о горе Нины Ивановны, собрали, у кого что есть, принесли. Общая наша беда, Григорий Яковлевич.

– Спасибо всем, товарищи, но вы бы прошли в зал заседаний, там по ведомости передали своему председателю деньги, а то кассир вас до обеда не обслужит.

Несколько человек остались:

– Григорий Яковлевич, у меня нет денег, я принесла золотые сережки, кольцо и перстень.

– Мы с сестрой тоже отдаем золотые вещи.

– Григорий Яковлевич, помните, мы с вами вместе получали ордена, я готова отдать свой орден Ленина.

Гурушкин был явно смущен:

– Давайте так: золотые вещи опишите, взвесить, к сожалению, у нас негде. А орден... Едва ли, Агриппина Георгиевна, мы сумеем продать ордена, да и незаконно это. Оставьте его до лучших времен.

В вестибюле бывшего райкома партии, где разместилась новая администрация, собралось больше двадцати человек. Кто-то сбегал наверх, попросил открыть зал заседаний, идущий с обеда Хлопов растерянно смотрел на собравшихся:

– Вы по какому случаю тут? Кто собирает?

– Сами собрались, беда у нас, – ответил Гурушкин.

– У тебя, Григорий Яковлевич, в последнее время все не слава Богу! – засмеялся Хлопов. Толпа ответила холодным молчанием.

– Не надо ерничать, Вадим Лукич, наш земляк попал в плен к чеченцам, требуют выкуп. Мы собрались, чтобы обсудить, как собрать средства.

– Ну, это другое дело, – смутился Хлопов. – Заходите, я сейчас спущусь.

Гурушкин не стал дожидаться главу и коротко доложил, что сделано в его совхозе, а потом предложил высказаться остальным. Вставали и говорили кратко: через три дня все возможные средства будут собраны. Управляющую банком попросили найти приличную скупку золотых вещей, потому что почти везде люди, за неимением денег, приносили драгоценности.

– Антонина Александровна! – Обратился Гурушкин к управляющей банком. – Какому хозяйству ты можешь дать кредит в самое короткое время? Остались еще такие?

– Строго говоря, нет, без поручительства облсельхозуправления ничего не получится, а на это надо много времени, вы знаете.

– К тому же, господа, – вмешался Хлопов, – государственные органы в это дело вмешивать не надо. Позиция власти известна: никакого выкупа террористам, никакого поощрения похищениям людей.

Гурушкин побледнел:

– У тебя есть сын, Вадим Лукич, кстати, ровесник нашего Гриднева, представь себе на мгновение, что почки его вдруг признали здоровыми и он не за партой в университете, а в яме в чеченских горах, и меньше, чем через месяц его не станет. Если государство не может уничтожить бизнес на крови, пусть платит! Не Рублевское шоссе обустроивает, не позолоту в кабинетах президента...

– Григорий, перестань, так мы ничего не добьемся.

Бывший парторг его совхоза фронтовик Головачев встал с ним рядом:

– Мы навсегда покроем себя позором, если не сумеем вырвать из плена своего сына. Конечно, дикость, что ведем войну в собственной стране, у меня мнение, что она очень нужна

кому-то наверху, иначе, с военной точки зрения, это не война, а недельная войсковая операция. Вадим Лукич, у вас есть выход на главу области, попросите деньги в долг, мы все готовы подписать обязательство в течение трех месяцев его погасить. Можете вы это сделать?

Хлопов покраснел и покачал головой:

– С такой просьбой я обратиться не могу.

Гурушкин встал:

– Тогда, Вадим Лукич, может вам лучше покинуть наше скорбное собрание? А то еще, не дай бог, обвинят в искривлении государственной линии в вопросе о цене жизни простого гражданина России.

Хлопов вышел.

– Товарищи, завтра будем встречаться?

– Наверное, нет, собираем средства на местах, через день сойдемся, подыщем результат.

Так и решили. Гурушкин стоял в коридоре с Головачевым, подошел Хлопов, молча подал объемный пакет:

– Возьми. Хотел машину купить, но обойдется. С чиновниками сегодня переговорю, соберут, что можно.

Гурушкин уже в машине вспомнил, что так и не поблагодарил Хлопова.

У крыльца совхозной конторы стояла серебристая иномарка, по номеру определил: авторитет, смотрящий по району, фамилии не знал, но кличку помнил: Щербатый. Он все удивлялся: человек отсидел в тюрьме, освободился, дня нигде не работал, а живет, как новый русский: дом в два этажа, машина красивая... Увидев хозяина, гость вышел из машины и пошел ему навстречу, остановился в трех шагах:

– Руки не подаю, чтобы себя не унижать отказом, зная ваши взгляды и натуру. Короче, о парне нам все известно, с согласия братвы я привез пять штук.

– Каких штук? – не понял Гурушкин.

– Баксов. Пять тысяч баксов из общака.

– Я ваши деньги принять не могу, они тоже в крови.

– Ну, не так густо, как казенные в Чечне. Не ломай гордого, начальник, братва от всего сердца. Не примешь – обидишь. Не возьмешь – матери отвезу, та ноги целовать будет.

– Согласен. Странные вы люди, ей богу!

На крыльце ждал Сема:

– Чтоб разговоров не было, тебе самолично отдам, так спокойней, а то будут звонить, что Семка золотишком балуется. Тут пять золотых червонцев, после войны ходил, горевал на Безбородихинском погорелье, да и выкопнул случайно баночку. Всю жизнь боялся: узнают – спрячут, а таперика ничего не страшно, но ты все же никому не сказывай. Я для ради Нинки, без мужика растила, ох, и пакостной был, у меня лета три кряду огурцы вырывал и плети по пряслу развешивал. Ну, дай Бог!

В кабинете было прохладно, Григорий попил воды из графина и сел в кресло, вытянув ноги. Устал. И столько впечатлений. Хлопов с неожиданной стороны себя показал, старушка Агриппина самое святое – орден Ленина принесла, Сема со своими червонцами. Все-таки прекрасный у нас народ, работающий, честный, готовый последнюю рубаху снять что за родину, что за соседского парня. Только вот на вождей ему катастрофически не везет, и этот будто с моста упал, и вокруг один другого чище. Странная у нас жизнь получается: государство отдельно, власть отдельно, народ в стороне. Надолго так не хватит.

Он давно заметил, что люди перестали петь. Когда еще начинал работать директором, приезжая на утреннюю дойку на летние выпаса, он удивлялся, слыша простую лирическую песню, исполнители которой носились вдоль доильной установки с доильными аппаратами и ведрами. Уезжая в кузове грузовой машины, они заводили новую песню. Почему? Столь сладкая жизнь была? Какое там, от войны кое-как оправились, кругом нехватки, а настроение

у людей – жить. Теперь разом все изменилось. Даже в компаниях не поют. Зато на телевидении нездоровый оптимизм и веселье без меры, старики всегда говорили, что неумная радость не перед добром.

Дома Настенька встретила горячими пирожками. Пока он ел, она молчала, потом села рядом:

– Гриша, я собрала все свои побрякушки, только обручальное кольцо оставила. Не осудишь?

Он осторожно обнял жену и благодарно поцеловал в щеку.

Когда сборы закончились, спецрейсом директорской «волги» с двумя охранниками съездили в область, сдали в скупку золотые и другие ценные вещи, причем руководство было заранее извещено, что следует подготовить приличную сумму для расчета наличными. В банке обменяли рубли на доллары. Полный отчет вечером положили перед директором.

– С Гридневой надо отправлять кого-то для охраны, в дороге всякое может случиться.

– Давайте Пальянова командирuem, парень он ответственный, трезвый, надежный.

Сборы и отправку Нины поручил женщинам из бухгалтерии, съездили в Петропавловск, купили билеты на прямой поезд до Ростова.

Поезд пришел ранним утром, в зале ожиданий нашли свободную скамейку, Нина потуже затянула черный платок, Славка постоянно оглядывался. Просидели до обеда, Славка пошел в буфет купить чего-то перекусить, когда вернулся, Нины на месте не было. Спросил у соседей – сказали, что увели милиционеры. Славка кинулся к дежурной по вокзалу:

– Где у вас отделение милиции?

– На перроне, сразу направо. А что случилось?

– Женщину у меня арестовали, – и побежал на перрон. Сразу в коридоре его остановили двое милиционеров:

– Молодой человек, куда спешите?

– Землячка моя у вас.

– Кто такая, откуда приехала, цель приезда?

– Ребята, какие могут быть разговоры, у нас дело очень важное.

– Понятно. Пройди в эту комнату.

Славка вошел, замок в двери защелкнулся на два оборота. Славка начал стучать и кричать.

В это время в соседней комнате капитан милиции допытывался у Нины, зачем приехала из такого далека, кого ожидает с самого раннего утра. Понимая, что продолжение разговора может сорвать встречу и убить сына, Нина призналась:

– Сынка своего выручать из плена приехала, выкуп привезла.

– Покажите. Не бойтесь, здесь ничто не пропадет.

Нина отошла в угол комнаты, расстегнула кофту и перекусила нитки на пакете с деньгами:

– Вот. – Она подала сверток капитану. – Только, ради Бога, быстрее проверяйте, а то те придут, а меня нет на месте, подумают, что не приехала.

– Хорошо, успокойтесь, вот здесь у нас лаборатория, мы просветим пакет, если там действительно только деньги – вы свободны. Всего две минуты.

Капитан вышел, через две минуты вернулся, улыбнулся, вернул пакет, Нина глянула на широкую ленту скотча: все в порядке. Капитан проводил ее до дверей. Нина села на свое место, Славки все не было. Она и не заметила, как рядом оказался пожилой мужчина, русский, тихонько сказал:

– Вы Нина, передайте мне, что привезли, сами ждите здесь. Если все нормально, через пять минут встретитесь с сыном.

– Он жив, он здесь, правда?

– Пожалуйста, тише. Ждите.

Он взял пакет и вышел. Нина едва не побежала вслед за ним, но вовремя одумалась. Славки все не было. Пять минут, десять, мужчина появляется в дверях и идет прямо к ней. Но где же Гена? Она встает, он движением руки садит ее на место:

– В пакете вместо денег пачка милицейских повесток. Как это понимать?

Нина ничего не могла объяснить:

– Там были деньги, сколько надо, всем районом собирали. А повестки? Откуда? О! Будьте вы прокляты, сволочи, жулики, это здесь, в милиции у меня вынули деньги, а всунули бумажки. Верните мне сына, я сделала все, что могла, добрые люди, помогите! Деньги в милиции, отнимите их! – Она едва стояла на ногах, десятки людей окружили плачущую женщину. Мужчина шепнул ей на ухо:

– Я все передам, тебя не тронут.

– А сынок мой?!

Мужчины уже не было рядом.

Ее кое-как успокоили, она сбивчиво рассказала про сына, про деньги, про милицию. Двое военных из пассажиров пошли в отделение вместе с Ниной. Ни капитана, ни тех двоих, что ее привели, не было, все остальные ничего не знали и не слышали. Один офицер написал заявление в дежурную часть, Нина с трудом расписалась, второй точно такую же бумагу унес в железнодорожную прокуратуру. Нину отвели в медпункт. Офицеры доложили о том, что сделано, извинились и ушли: подходил их поезд.

Славку отпустили к вечеру, Нину он нашел в медпункте – дежурная по вокзалу подсказала. В тот же день выехали домой.

10

Вечером Семен подошел к конторе, Дарья, как всегда в это время, домывала крыльцо, встал в сторонке, дождался, когда она привычным движением выплеснет мутноватую воду и насухо выжмет прополосканную тряпку.

– Доброго вечера, Дарья Мартемьяновна.

– И тебе здравствовать, Семен Федорович.

– Ты погляди, как у нас все мило да любо, кто услышит со стороны – ну, чисто голубки.

– А кого нам теперь совеститься, подумай сам: я своего когда еще схоронила, все водки напиться не мог, ты тоже свежий холостяк. Да голубками и были когда-то, только война все понарушила. Садись на крыльцо, не ругаться, поди, пришел, в конторе нет никого, говори, что хошь.

– Ты войну-то здря обижаешь, не она одна виновата, могла бы и у тетки в девках пожить. После такого расставания у меня никакого сумления не было, женатым себя считал, где удастся приткнуться уснуть, там и с тобой повидаюсь. Все мне твой синячок на губе помнился, я его специально подкусывал, чтобы подольше сохранился, вроде как только что присосала девчонка.

Дарья смахнула слезу:

– Как бы можно было у тетки жить, не метнулась бы. В Красну Армию хотели забрать, уже на комиссии гоняли, да только нельзя мне было на фронт.

– Очень даже можно, девок множо видел на фронтах, и по санитарной части, и по связи.

– Нельзя мне, Сема, я уже тяжелая была.

– Вот так? И когда же успела?

Дарья возмутилась:

– Ах ты, «когда успела?», а не ты ли всю ночь, прости Господи, до седьмого поту, да тут диво было не понести! Павлик-то, сын, который сейчас на Севере, от твоего семени, а мой-то Георгий Николаевич, когда узнал, что не гожусь к мобилизации, замечать меня стал, в контору пристроил, продукты приносил.

Сема не слышал последних слов, он никак не мог понять про Павлика, зачем она говорит, что его семя?

– Обожди, Дарьюшка, дай одуматься, что ты мне про Павла сказала. Мой, говоришь? А когда он родился?

– В марте, как и должно. Сема, не вини меня ни в чем, что вышла за другого, не выжить бы мне с дитем, а он взял, на себя записал. Что раньше никогда не говорила тебе, да и седни бы промолчала, да как-то расположилось все к тому разговору.

Сема плакал, слезы стекали по его щекам, он подбирал их застиранным платочком.

– А ведь я думала, что ты найдешь меня сразу, как вернешься, я бы все бросила, к тебе пошла. И когда повстретились, ты уж женатый был, и тогда бы пошла, да ты возгордился.

Сема всхлипнул:

– Тяжело, поди, одной-то? В районе-то, говорят, квартирка была и с теплом, и с уборной, а все оставила и переехала в глухомань нашу.

– Домой вернулась. А тяжесть – какая тяжесть? Хозяйство не держу, пенсию дают хорошую, да мне много ли надо?

Сема вздохнул:

– А мне тяжело. Ты, может, смеяться будешь, а я все ночами молодость нашу вспоминаю, у меня же ни одной девки не было, кроме тебя. Новой раз до того забудусь, что заговорю с тобой на ласковом языке.

– Неужто все помнишь? Ведь полвека прошло, даже больше.

- Все до ниточки помню, вот как сейчас, и шутки в сторону.
- Ничего не вернуть, Сема, жизнь прошла.
- Ну, тут я не согласный, жисть продолжатся, надо только за ней успевать. Вот я пришел к тебе, думаю, может, нам с тобой сойтись?
- Бог с тобой, Семен Федорович, в наши-то годы?
- Сема взбодрился:
- А чего? Пусть знают молодые, что первая любовь завсегда сердце расшевелит.
- Засудит нас деревня.
- Дурак, можа, и осудит, а всякий умный, которых поболе, согласится, что правильно сделали. Только надо хату в порядок привести.
- Нет, лучше ты ко мне перетащись, у меня и домишко покрепче, и к центру ближе.
- Сема смутился:
- Нельзя, не положено в примачи выходить. Ладно, оставим до утра, я с Гришей посоветуюсь, он ведь как сын мне. А с Павликом как быть? Сопчишь ему об истинном отце?
- Дарья качнула головой:
- Писать не буду, а вот приедет через месяц, тут и обсудим.
- Сема подвинулся по плашке ближе к Дарьюшке, обнял ее за плечо, она положила голову ему на грудь. Совсем, как в ту ночь, которая была первой и пока последней в их совместной жизни.

11

Собраний давно в деревне не было, как партию и советы распустили, так и собираться перестали, тем более днем, так что полный клуб набился народу. Приезжие и хозяева из конторы шли гуськом и не разговаривали. Семен стоял на крыльце, докуривал, все видел и понял, что дело плохо, раз молчком идут. Директор совхоза открыл собрание:

– Повестка дня известна: о роспуске совхоза и формировании земельных и материальных паев работников. Присутствует начальник управления сельского хозяйства района Дымчаков и заведующая экономическим отделом районной администрации Кукорина. Начну с собственного сообщения. Вы знаете, товарищи, что цены на нашу продукцию из года в год падают, а на все то, что необходимо, чтобы произвести молоко, мясо и хлеб, цены растут. Андрей Ляпышев помнит и не даст соврать, когда у него на «Кировце» двигатель стуканул, а нам зяби еще пахать немерено, я загрузил десять быков, увез на мясокомбинат, там квитанцию выдали, с ней в Агроснаб, и к вечеру мы новый трактор пригнали. Так, Андрей?

– Верно!

– Сегодня за «Кировец» надо табун быков гнать, солярка в пять раз дороже молока. Как жить? Чем больше работаем, тем больше должны поставщикам, налоговой инспекции, всяким фондам. Получается, настали такие времена, что страна в крестьянине не нуждается, и сельское хозяйство ей не нужно.

– В таком виде, конечно, не нужно, – заявила из президиума Кукорина. – Вы же банкроты, сами себя съели.

– Ладно, мы не нужны, а кто народ кормить будет?

Кукорина встала:

– Западные развитые страны, поддерживая нашу демократию, предлагают продукты в несколько раз дешевле, чем себестоимость вашего не самого качественного мяса и молока.

– А нас куда?

– Дустом травануть?

– И жить чем?

Зал гудел. Поднялся Дымчаков, он уже не первое собрание проводил, потому несколько не смущался:

– Каждый из вас получит пай, долю от совхоза. Можете регистрировать крестьянско-фермерское хозяйство и работать только на себя, посмотрите, как в Америке живут фермеры, половина миллионеры. Можете объединяться и работать в кооперативе, это как маленький колхоз, только опять же на себя, захотите продать государству – пожалуйста, нет – решайте сами.

Встал Славка Пальянов:

– Нас в совхозе не пятьсот ли душ. Тракторов всех марок, если не ошибаюсь, меньше ста, комбайнов сорок. И как делить? По колесу на брата? Это же дурь!

Григорий Яковлевич постучал карандашом по графину на трибуне:

– Дайте мне закончить. Вопросов будет в тысячу раз больше, чем назвал Пальянов. Но я хочу вот на чем остановиться. Новые власти не любят советы и коммунистов, вместе с тем ненавидят все то, что ими создано. Да, мы жили не очень богато, но ровно. Мы создали за послевоенные сорок лет колхозно—совхозную деревню как единый социально—экономический организм. У нас все было едино. Мы фермы строили и квартиры бесплатные, мы клубы, больницы, школы сделали в каждой деревне. Скажите мне, кто самый главный хозяин был в деревне? Парторг? Нет! Председатель сельсовета? Нет! Директор совхоза самый главный, потому что у него все ресурсы, вся техника, все средства. Для чего? Для людей, для вас всех. Елена Васильевна, учительница наша, на прошлой неделе ночью рожать надумала – куда медичка прибежала? Ко мне. Я дал команду водителю, чтобы роженицу увезли в район. А третьего дня

умер ветеран труда, заслуженный механизатор Егор Платонович. В совхозной столярке гроб сделали, на совхозной машине на кладбище увезли, в совхозной столовой поминки справили. Вот он, деревенский живой организм, от рождения до смерти человек в коллективе. Если все это будет разрушено, деревня погибнет. Наши деды еще общинами жили, мы тоже к такому пришли, но сегодня все перестраивается. Я вырос в совхозе, десять лет директором был. Гробить своими руками все, что создавал, не хочу и не буду. При всем народе заявляю, что обязанности директора с себя снимаю.

Дымчакова такой вариант явно не устраивал:

– Минутку, Григорий Яковлевич, значит, вы в кусты, а кто отвечать будет за совхоз, вернее, за долги, которые вы нахватили?

Гурушкин побагровел:

– Прошу, господин Дымчаков, выбирать выражения. Дела сдам по документам, любую комиссию назначайте. Только прямо сейчас подтвердите свой приказ отгрузить Облхлебопродукту практически весь намолоченный хлеб и сдать тридцать коров в счет долгов кооператива «Казбек». Вы обещали, что деньги поступят на наш счет немедленно, но сегодня я выяснил, что нашим зерном закрыли долги района, а «Казбек» получил расчет за мясо наличными. Как это прикажете понимать?

Дымчаков улыбнулся:

– Вы, Григорий Яковлевич, типичный представитель советской экономики, вам не понять тонкостей сегодняшних экономических отношений. Мы такие хозяйства, как ваше, будем закрывать, дадим людям свободу, и через три года новые крестьяне завалят страну продуктами.

Зал загудел, но всех перекричал Семен Федорович:

– Хочу просить товарища или господина, теряюсь теперь, Дымчакова пояснить народу, как это он изловчится за три года новых крестьян настрять. У меня, верно, детей... вроде как не было, но процедура мне известна, тут тремя годами не обойтись. Это одно. Другое: а куда нас девать? Если без ехидства – вы подмогните деревне, вы же видите, что люди работают, поспособите. Я все смеялся над советской властью, что у нее бензин стоил дешевле газировки. Дохихикал, за литру солярки надо вылить подойничек молока. Жду ответа, дорогой уполномоченный.

Дымчаков широко улыбнулся. Вообще красивый парень, волосы назад, бородка, как положено, аккуратно подбрита, галстук богатый, аж глаза скрадывают, костюм с отливом, туфли востроносые.

– Я позволю себе повторить притчу, рассказанную нашим уважаемым руководителем. Голодному человеку надо дать удочку, а не рыбу, готовую рыбу съел, и опять голодный, а на удочку можно ловить, сколько хочешь. Колхозы и совхозы – это черная дыра, в нее хоть сколько вливай, все равно никакого толку.

Голос из зала перебил:

– Вы бы насчет дыр поаккуратней, а то женщины уж платками закрываются.

Дымчаков смутился:

– Прошу прощения, во всем виновата многозначность русского слова, но, впрочем, не о том речь. Государство в корне пересмотрело свое отношение к сельскому хозяйству и будет поддерживать сильных, способных развиваться, слабые... отомрут сами собой, люди найдут занятие. Вот, говорят, в ваших местах грибов много: создавайте артели, заготовливайте и продавайте хоть до Москвы.

Толпа оживилась:

– Верно, мужики, какого хрена я вкалывал на ферме, когда от первых лесков и до самого кордона о грузди запинаешься, пройти нельзя. До внукова поколения семью бы обеспечил, опять же на свежем воздухе.

– Нет, Кипря, ты бы только на соли большие траты имел, соль сразу в цену пошла бы.

- Сушить! Опята очень даже хороши сухие.
- А обабки лучше мариновать, кума сказывала.

Гурушкин видел, что собрание утратило интерес к повестке дня и вообще к завтрашнему, безысходность и бессильную злость скрывали мужики за грубой шуткой – такое тоже бывало.

- Григорий Яковлевич, ведите собрание, что это за балаган? – шипел над ухом Дымчаков.
- Что вы, Антон Анфентьевич, разве это не есть демократия, о которой вы столько речей задвинули? Пусть выскажутся люди, все равно им терять уже нечего.

Расчеты экономистов по земельным и имущественным паям слушали в пол—уха, бабы перешептывались, мужики говорили в открытую, комментируя очередной вывод экономиста.

– Земельная доля составит пятнадцать гектаров на работающего, но это вместе с пастбищами и сенокосами, чистой пашни четыре с половиной гектара. Имущественный пай будет зависеть от стажа работы и заработной платы, потому все расчеты объявим позднее.

Встал Дымчаков:

- Всем все понятно? Таковы правила игры.

Зал угрюмо молчал. Кто-то вздохнул:

- Ребята, не бойсь, это всего лишь игры, только проигравшему не жить.

Дымчаков кашлянул и предложил принять резолюцию.

– Обожди с резолюцией, – вперед протиснулся Семен Федорович. – Я вот сейчас гляжу на тебя, господин представитель, и вспоминаю, как много лет назад вот так же стоял такой же уполномоченный и тряс резолюцией о создании колхоза и зачислении всех жителей гуртом в это дело. У тебя только нагана не хватат, у того уполномоченного наган был, и помогал ему, как только в зале шумок, или кто не то понес в речах, он нежненько так наганчик с руки на руку перебрасывал. Я хоть и совсем малым был, но помню. И речи ваши очень даже похожи, только у того загнать всех любыми судьбами, а у тебя разогнать опять же любой ценой, потому что в Москву, наверно, уж доложили, что разрядка исполнена.

Дымчаков вскочил:

- Я бы попросил...

– И не проси, взял слово – ни за что не отдам. Я в народе считаюсь легоньким, вроде как дурачком смирным, но меня не обижают и слушают, когда говорю. Страшное дело происходит на наших глазах, грязный нож, каким бабы полы скоблят, в самое сердце деревне вонзают, а дети ее, словно чужекровные, молчат, не встали стеной, не загородили мать родную. Вы приглядитесь, у таких уполномоченных ничего нет, окромя резолюций, им что совхоз прикончить, что целый народ голяком пустить. Помянете меня потом, отпрыгнется вам сегодняшнее молчание.

- Ты что, дед, к бунту призываешь? – выкрикнул Дымчаков.

Сема вскипел:

– Какой я тебе дед? Ежели бы у меня был такой внук, я бы удавился в ближайшем туалете, чтобы приличные места не осквернять. Революции, восстания, расстрелы – это все по вашей части, и ваш брат премного преуспел, как говаривал наш парторг Володимир Тихонович, не тем к ночи помянутый.

- Он что, умер?

- Живой, но дело его погибло. Сейчас вот вроде поминок проводим.

Гурушкин встал из-за стола и вышел вперед:

– Хочу предостеречь вас от резких выпадов против власти. Мы с вами, народ то есть, уже ничем не руководим. В районе главным начальником поставили человека, в партийные времена бывшего во втором эшелоне кадрового резерва. Господин Дымчаков горожанин, основатель крупного банка в области, зачем приехал в сельский район – думаю, есть корыстный интерес, сегодня это поощряется. Можете не голосовать, совхоз все равно распустят, счета

арестованы, имущество тоже. Меня за уход не корите, я с собой болта ржавого не взял, весь на виду.

Он поклонился людям и вышел под пугающую тишину зала.

12

Гурушкин рано утром в конторе написал заявление на имя начальника управления сельского хозяйства и отправил его с шофером, наказал, чтобы зарегистрировал в отделе кадров, а то начнут игрушки: видели – не видели. Ровно в восемь позвонили из приемной руководителя района, и дама солидным голосом предупредила, что соединяет с Вадимом Лукичем Хлоповым. Гурушкин выругался: что крестьяне, то и обезьяне, раньше первый секретарь райкома звонил без посредников, а сегодня протокол, субординация, батенька...

– Будь на месте, я через час подъеду, надо поговорить.

Вошел, руки не подал, сел за стол с уголка:

– Григорий Яковлевич, ты почему себя так вольно ведешь? Или ты иной власти, кроме партийной, не признаешь? А я тебе напомним, что это мы, новый состав районного совета, спасли тебя от жестокого наказания, возможно, и от тюрьмы, и ты должен быть благодарен.

– За что? Да, я поддержал ГКЧП, потому что комитет брал на себя ответственность за большую страну, когда уже никто не хотел отвечать, и противостоял тем, кто готов был ее запродать. Я видел пресс—конференции и подленькие вопросы слышал, которые задавали откровенно антисоветские, проамериканские журналисты, видел, что комитет слаб, нуждается в поддержке, и я заявил о своей солидарности с ГКЧП.

– Заметь, заявил на областном телевидении, тебя на всю страну потом показывали, прокурор области настаивал на твоём аресте. И все-таки мы тебя не отдали.

Гурушкин возмутился:

– Что ты меня, Вадим Лукич, все укоряешь этим заступничеством? Я на сессии райсовета прощения не просил и в ноги тебе не падал, наоборот, соглашался на открытый суд, и не потому ли ты предложил перерыв сделать, что советовался, с кем надо: а можно ли допустить до суда? Он там такого может наговорить, что снова придется танки вызывать. Втихушку прихлопнуть меня вы уже побоялись, а открытый процесс и того страшнее.

– Да, вижу, что выводов ты не сделал, а жаль.

– Почему не сделал? Сделал, что только задним умом мы крепки. Комитетчики слабы оказались на крутые меры, и войска ввели, а ходу им не дали. Там и надо-то было полсотни человек изолировать, а духу не хватило, не смогли переступить через нравственные принципы. Зато через два года юная демократия все сделала, как надо, и войска ввела, и из танков по Верховному Совету постреляла. Правда, все с подсказки дядьки заморского, зато с прямой трансляцией позорного расстрела по американским каналам.

– Ну, ты не загибай.

– Что, забыл, оспариваешь? Да у меня три кассеты записаны с монотонными картавыми комментариями, могу одолжить, чтобы освежил память, но только оно тебе уже ни к чему. Ты лучше скажи, зачем приехал?

Хлопов за все время разговора глаз не поднял, смотрел куда-то мимо, и ответил никому, в сторону:

– Направляем к тебе большую ревизию, все проверим, о зерне и мясе ты зря объявил, все переиграем, и ты окажешься в дураках. Потому мой совет: подпишешь документы в таком виде, как подготовит Дымчаков, и уезжай, друзей у тебя много, устройшься. Встанешь поперек – раздавлю, вместе нам не работать. – Хлопов резко встал и хлопнул дверью, аж штукатурка посыпалась.

«Вот оно как!» – подумал Гурушкин. – «Политические противники становятся противниками экономическими. Знать, большую аферу задумали они с совхозом, если он так открыто грозит и прямо предлагает. Ладно, посмотрим, какие документы привезет Дымчаков».

13

Ах, до чего жалко было Семе сына дружка своего Якова, первенца для обоих, бездетный Семен прибегал вечерами повошкаться с крепьшом, на ножке качал, возил на корчажках, бывало, нечаянно обмочит заигравшийся Гришка... «Обабком мы его звали, точно», – вспомнил Семен и вздохнул. Обабок – толстенький гриб, упругий, просто так не сшибешь, походил чем-то парнишка на лесную дивность.

Это за ним с детства такой недостаток – вступать в споры, свое чувство отстаивать. Был случай, уличил он мошенство парня одного, повзрослей его будет, когда в картишки баловались. Тот в морду:

– Признайся, что соврал.

А наш кровавую юшку сплевывает и свое:

– Нет, видел, как ты подменил картинку!

Еще в морду. Не помогает. Отобрали мальчонку, отец перво-наперво всыпал за картишки, а потом спрашивает:

– Ну, чего тебе стоило согласиться, мол, ошибся.

А тот разбитым носом хлюпат и упрямится:

– Не бывать такому, а обмана в жисть не потерплю.

А в юности как он резко поступил, когда власти разрешили парням, которые по институтам учатся, в армии не служить до получения дипломов. Учиться поступил заочно, потому как безотцовщина, концы с концами... , но как узнал, что от армии отсрочка, пришел в военкомат:

– Забирайте, я же не бракованный какой-нибудь, а то ославят на всю деревню, ни одна девка не подпустит.

Ну, чисто папа родимый, царство небесное! тот тоже в сорок первом в комиссариате в грудь стучал, партбилетом размахивал:

– Никакой брони не признаю! На фронте отечественная судьба решается, а тут бабы и без меня трактора заведут.

Достукался...

Институт Гришка окончил уже после армии, механиком побыл, инженером, в партию вступил. Сема, конечно, человек сугубо беспартийный, но попросился у Володимира Тихоновича поприсутствовать в уголке, когда Гришу принимали. Парторг разрешил, но с уговором, что Сема вести себя будет тихо и речей не говорить. И чего они его так терзали: и про китайских коммунистов, и про кубинских, и про мировой империализм. Так и подмывало Семку вскочить и воскликнуть:

– Да что это вы над чистой душой измываетесь, на нем пятнышка нет, не токмо греха.

Но – устоял, посовестился, зато потом все до чиста Володимиру Тихоновичу выпенял. А тот лыбится:

– У нас в партии процедура такая, каждого обсудить, вывернуть, чтоб ошибки не сделать. Ладно...

Инженером когда Григорий стал, уважительный, и народ к нему запросто. А тут директора переводят, и вроде бы все к тому, что Григорию Яковлевичу директором быть, но чин какой-то в районе заартачился, не дает пропуску. Вот тогда Сема снова пошел к парторгу:

– Ты пошто своих членов в обиду сдаешь? Намекивают нам со стороны человека, разу в наших краях не бывал, местов не знат, людей тоже. Какой он будет директор первые три года? Пропадем совсем! Вот тебе мой сказ: ехай в район и ставь вопрос на ребро, что есть у нас свой директор, готовый, Гришка, то есть.

Возымело! Побывал парторг в райкоме, знать, уважал его тогдашний первый секретарь, теперь уж покойный, земля ему пухом, потому что в царствие небесное партийных едва ли пушают.

Назначили Григория Яковлевича, и как будто ничего не изменилось, так же пахали и сеяли, так же бабы коров доили, скотники быков выпасали – ан нет, другая сделалась политика. Какие-то хитрые расчеты делал директор со своей конторой, договора заключал с бригадами и фермами, по концу года премиальные выплачивал такие, что люди получать поначалу пужались.

Семен давненько уж заметил, что как только народишко в деревне чуть зарозовеет, взвеселится, шти у него погуще станут – сразу органы интересуются: «Откуда, не от любимого ли государства отщипнули?». Каждый месяц приезжали, бумаги листали, Сема тогда уж на пенсии был, целыми днями у конторы просиживал, все боялся, что проморгает, увезут Гришку, и рукой не махнешь. Нет, каждый раз уезжали без залога, Гриша выходил из конторы последним, одними глазами благодарил деда за поддержку и шел домой.

А женился он как! Гришка еще в механиках ходил, и приехала в деревню молодая учительница после института, Сема ее сам и привез из района в своем ходочке на справном мерине Карьке. Девчонку на квартиру поставили к Павловне, у нее в доме горенка была с отдельным ходом, всегда в ней кто-то жил, то агроном молодой, то медичка.

Гриша Настеньку-то первый раз в клубе увидел, в кино она пришла, «Свинарку и пастуха» показывали. Гриша как увидел учительницу, так и сомлел, знамо дело, не у одного Григория в тот вечер ноги ослабли. Конечно, ни свинарки, ни пастуха он не видел, все в ее сторону смотрел, от экрана лицо ее хорошо освещалось, правда, мужики из заднего ряда пару раз ему голову на место ставили. После фильма целый спектакль получился, Настенька идет по коридору, а парни по обе стороны по стойке смирно стоят. Конечно, при таком стечении никто не насмелился в провожатые, да и Гриша в толпе дурачком просопел.

На Новый год надо было для установки на школьном дворе большую елку привезти, Гриша сам поехал с трактористом, высоченную да кучерявую красавицу свалили, правда, сосну, ели в наших местах не водятся. Привезли в школу, Гриша выскочил, посмотреть, где надо ставить, а Настенька явилась перед ним, раскрасневшаяся на морозе, белые кудри с заячьей шапкой смешались, улыбается:

– Вот тут ставьте, мы с ребятами вокруг фигурок из снега наклеим, сказка получится.

Гришку как заклинило, ни слова ответить не может и трактористу ничего не говорит. Тут Настенька и взяла все в свои рученьки, трактористу машет:

– Сюда подъезжай! – Крановщику на глубокую яму показывает: – Тут надо установить. Тогда и Гриша оживился, лопату схватил, давай снег вокруг дерева трамбовать, в колодец за водой сбегал, чтобы елку надежней вморозить. И в этот момент подошла к нему Настенька, поблагодарила, пригласила на открытие снежного городка.

– И на новогодний бал в школу приходите, вы же не чужой, учились здесь.

– Приду, обязательно приду! – Заорал Гришка, перекрывая рев трактора.

На этом вечере и обраковались они, домой ее проводил, с тех пор в клубе уже никто не прилипал к ней. После Пасхи свадьбу сделали, это Сема настоял, чтобы Великий Пост перетерпели, нельзя в такое время свадьбы играть. Сема на том пиршестве на месте отца сидел. Гордился...

14

Дымчаков положил перед Гурушкиным красивую папку с тиснением фамилии владельца и сам открыл первый лист:

– Это приказ о вашем увольнении. В одном экземпляре распишитесь, второй возьмите себе, на память. Далее. Разрешение на передачу техники, тут все госномера, другие данные – о передаче в порядке погашения долгов кооперативу «Мечта», по остаточной стоимости.

Гурушкин молчал. Дымчаков перевернул следующий лист:

– Договор о продаже свиноголовья частному предпринимателю Исламбекову.

– Мусульманину грешно заниматься свиноводством, – попытался пошутить Гурушкин.

– Почему грех, если ваши работники погрузят, а на мясокомбинате забьют? Деньги даже после свинины не пахнут, Григорий Яковлевич!

– Похоже, в запахах вы неплохо разбираетесь. Хлопов эти бумаги видел?

– Видел, знает и одобряет, от него возражений не последует.

– Да, было бы диво.

– Что вы сказали?

– Вы для чего мне эти бумаги показываете? Подписывать их я все равно не буду, тем более, что уже освобожден. Поглумиться захотелось, насладиться горем?

– Какое горе, Григорий Яковлевич? Был совхоз – нет совхоза – вам-то какая разница? Вашего же ничего не пострадало? Но бумаги эти вам придется подписать.

– Нет, Дымчаков, нам друг друга никогда не понять.

– И не надо. Для сведения: преобразование хозяйства продолжит Дымчаков Олег Анфентьевич. Удивлены? Да, мой младший брат.

– Вдвоем и батьку бить ловчее.

Гурушкин прочитал все документы и ничему не удивился, по ним основные средства совхоза арендовались, передавались или продавались чужим, посторонним людям. Он понимал, что Дымчаков готов к его отказу, у них на этот случай есть запасной вариант, но он понимал так же, что никогда не подпишет такие документы не потому, что они незаконны – если надо, эти ребята и закон подправят, а потому что они противны его совести и гордости.

– Дымчаков! С братцем будете претворять эти решения в жизнь, без меня. Вот смотрю на вас и думаю: неужели вы уверовали, что бога за бороду держите, что все теперь в ваших руках? Неужели нет страха, опасения, что отвечать придется?

Дымчаков внимательно на него посмотрел:

– Перед кем? Хорошо, откровенность за откровенность. Вы утратили власть и собственность, я имею в виду коммунистов, Советы, к прошлому возврата не будет. О народе вы напрасно беспокоитесь, он будет выживать и потихоньку сокращаться количественно. Возвращается капитализм, приходит собственник, мы станем частью мировой экономической системы. Россию будут уважать.

– Вы, наверное, образованный человек, а простых вещей не понимаете. Страну, государство прежде всего должен гражданин уважать, а остальные – как хотят. Новоявленные собственники, по сути, жулики, потому что в нашей стране невозможно было стать миллионером, не нарушив закон. Так что вся ваша знать, от наших торгашей и до государственных чинов, ставших миллионерами, я уж не говорю об уважаемых олигархах, – преступники, и теперь уже не важно, признает их таковыми суд или не признает. Главное, что народ это очень хорошо понимает.

Дымчаков собрал бумаги:

– Достаточно, Григорий Яковлевич, заговорились мы с вами. Об одном прошу: не мешайте нам работать. Уехать бы вам, например, в Тюмень, мы и с квартировкой поможем.

– Спасибо, не стоит забот. Я тут останусь, вы пришли и ушли, а тут родина моя. Все!
Он положил на стол ключ от кабинета и вышел. Дарья Мартемьяновна домывала полы в коридоре...

2008 год

Гриша Атаманов

Повесть ПРОЛОГ

Первому сибирскому снегу Данилка нарадоваться не мог, белый пух два дня валился из серого неба и укрывал землю, еще вчера уныло мерзнувшую в наступающих холодах. Снег превратился в сугробы, поднявшийся студеный ветер, называемый здесь сиверком, распределил его поближе к плетням и заплотам, старался втиснуть в подворотни и завалить ограды, а на задах все усадьбы утепило под самые крыши. Данилка не шел со двора, широкой тесаной лопатой, по совету местных мужиков приготовленной с лета, сгребал легкий снежок на зава-linkу, крутой валик сухого чернозема, по второе бревно обнявший избу со всех сторон. Тоже мужики подсказали, что лежки, короткие комлевые бревна, уложенные в основание избы, под первое окладное бревно, на зиму надо обваливать землей, а потом снегом под самые окна, чтобы теплее.

Мужиков не шибко удивило появление в селе Смирном нового человека, кругом окапывались переселенцы из Расеи, рыли землянки на первый случай, некоторые выкупали на зиму угол у старожилов, а после посевной рубили избы или даже дома. Народишко был при копейке, власти снабжали на обзаведение, местные, хоть и не любили новоселов, но готовы были продать и скотину, и что из инвентаря. Одно было странно, что молодой мужик прибыл без семьи, жил у старухи Рогожихи, ни с кем не общался, быстро сориентировался в ценах, закупил красный сосновый лес и плахи в городе, нанял бригаду и поставил большую избу. На замечание строителей, что можно бы перегородить сруб на избу и горницу, как заведено, кратко ответил, что изба – дело временное, осмотрится, и дом станет строить из кирпича. Строители хохотнули, и слух прошел, что парень себе на уме.

Столько снега он никогда не видел, в родных краях, о которых дал себе слово не вспоминать, чтобы не тревожить память и в чем-нибудь не проболтаться случайно, выпадал, бывало, снежок, но только на несколько дней, сразу подтаивал, мутнел, никакой красоты, одни неудобства. Расчистив ограду, обнесенную высоким бревенчатым заплотом, он поставил под сарай к поленице дров лопату, начисто обмел веником-голиком новенькие пимы-самокатки и пошел в избу. Теплую фуфайку набросил на железную вешалку, скованную здешним кузнецом, поправил приготовленный к холодам полушубок. Вынул из печи горшок с кашей, поел, убрал на залавок посуду: «Потом помою». Холостяцкая жизнь была скучна, летом работы много, так вымотаешься, что не до гулянок и вечеров, как тут принято, только бы до постели добраться. А теперь тоскливо. Пока жил у Рогожихи, все ее советы выслушивал: «Ты, паря, не засиживайся, найди себе девку ко влазинам в новую избу, вот тебе и хозяйка». И все на Веру Тагильцеву указывала, мол, и телом полна, и лицом чиста, да и порода не гульливая, работящая. Данилка и сам видел эту девку, при встрече она смущенно закрывала лицо платком или полупшалком, но он знал, что с чужими так и положено себя вести.

А встретился с Верой на воскресной службе в церкви Покрова, он ходил туда редко, чаще уезжал в город, где в большом кафедральном соборе всегдалюдно и ты можешь тихонько исповедовать Богу свои грехи. А тут сон привиделся, да столь ятный, что и, проснувшись, Данилка долго еще находился там, в родном краю, в доме пана Ецука. Потому и отправился в ближайшее воскресенье на службу, дождался исповеди.

– Грешен ли, раб Божий Даниил?

– Грешен, батюшка.

– Кайся, Господь видит твои деяния и простит, если не смертны грехи твои.

– Каюсь, батюшка, что на жен чужих посматриваю.

– Сие есть грех, уже прелюбодействовал ты в сердце своем.

– Еще каюсь... (что бы ему такое сказать, чтобы он назначил епитимью, да и делу конец?), каюсь, прибил как-то соседскую курицу, в огород залетела.

– Ты, сын мой, перед Богом стоишь, а не в курятнике. Сие вы с соседом замирите, а за то, что таишь в душе своей, назначаю тебе по десяти раз утром и вечером неделю кряду читать «Отче наш». По истечении срока придешь к исповеди, а пока лишаю причастия. Пойди вон.

Повернулся, а Вера лицом к лицу, чуть не столкнулись, опять покраснела вся и ушла на клирос. Решил дожидаться, походил вокруг церкви, срублена надежно, а у нас все каменные, деревья нет. Тьфу ты, опять за свое! Что же Вере сказать? Позвать вечером на встречу – только отпугнешь, а как по-другому? Она вышла на паперть, повернулась к иконе над входом, трижды перекрестилась и метнулась, вроде, в другую от него сторону.

– Обожди, Вера Павловна, чего ты от меня закрываешься?

– Не место тут говорить про это, – шепнула она.

– Укажи место, я на край света приду.

– После управы подойди к керосиновой лавке.

Ах, как хороша! И одета скромно да аккуратно, потому что в церковь не можно расфуфыриваться, и волосы прибраны под платком, росточком чуть разве его пониже, но в кости широка и лицо строгое. Губки только маленько подвели, пухловатые, вот там была у него зазноба... Он опять спохватился и заставил себя думать о встрече с Верой. Раз согласилась придти, значит, тоже его приметил, а он долго ждать не будет, стговор с родителями совершить и назначить свадьбу с венчанием.

В тот вечер он дождался потемок, подошел к лавке, керосином несло, как от пролитой неловко лампы, была у него дома такая оплошность. Постоял, увидел неспешно идущую Веру, свернула к лавке, степенно остановилась.

– Чего сказать хотел, Данила Богданович? Торопись, мне не след с парнем незнакомым подолгу стоять.

Данилка оробел, но понял, что его час, и сказал шепотом, сделав еще шаг поближе к девушке:

– Выходи за меня замуж, вовек не пожалеешь.

Вера улыбнулась, он видел это даже в сумерках.

– Да как же я могу тебе хоть что сказать, если знать совсем не знаю, и кто ты, и откуда, и что за душой? Спрошу у тяти, если разрешит, буду с тобой на людях встречаться. А замуж мне не к спеху, года не ушли, да и женихов табун. – Вера говорила это скорей от девичьей гордости, чтобы не больно зазнавался, что вышла к нему. – Все, пошла я.

Данилка улыбнулся такому воспоминанию, задернул занавески, зажег лампу, достал книгу по маслоделию, купил в городе у старого мастера. Всю от корки до корки прочитал, целую тетрадку записал, теперь начал чертежи рисовать, как и что сделать, какие машины прикупить. Не просто молоканку, какую видел в соседней деревне Чирочки, а маслоделательный заводик надо строить, кирпичный, чтобы век стоял, и кирпич надо свой лепить, так дешевле. Сепаратор, маслобойка, пресс – все следно найти хорошего качества, тогда и масло будет цену иметь. А ледник, а добрые кони, а дрожки с утепленным ящиком для переброски масла в город. Дел много, одной пашней и подворьем прожить, конечно, можно, но ему широты хотелось, виделась жизнь в достатке, семья большая, жена – красавица, и чтобы люди приезжали в дом умные, которых послушать приятно и полезно. Дом. Да, дом придется строить после заводика, а то любопытных много, поинтересуются, откуда средства. И может начаться... Оборони Бог! Прочь мысли дурные, они не доведут до добра.

* * *

Хлеб убирать подошла пора, Данила нанял двух мужиков и трех баб, за неделю все выкосили, в снопы связали и в сарай свезли на берегу озера, купил его Данила еще весной. Из уездного Ишима машину молотильную притащили четверкой лошадей, в сарае установили, мастер сам запустил и первые снопы обмолотил. Посмотреть на невидаль съехались мужики. Конечно, в четыре руки надо крутить машину, но это не цепями махать, а зерно какое сыплется – хоть сейчас на мельницу.

– Данила Богданович, сколько запросишь, если работницу твою на мое гумно перетащить?

– Верно, определись с ценой, мы прикинем.

Данилка уже готов был к такому разговору:

– Из десятой доли соглашусь, думайте, но все работники ваши, а мой только надзор. Обучу толкового мужичка, вот и будет смотреть.

Крестьяне отошли в сторону, пошептались, один вернулся к хозяину:

– Мы согласны, только работники твои, а харчи наши.

Данилка улыбки с лица не спускал, так и ответил почти радостно:

– Из десятой доли соглашусь, я же сказал, а дважды повторять не люблю, но пришлось. Надумаете – знаете, где найти, скажете.

– Упрямый, сволочь, хоть и молодой, – один выругался, подходя к лошадям. – Деньжищи, знамо, вывалил он за эту молотилку, что нам и не грезились. А где напахал, он что, с приисков к нам явился?

– Да како наше дело? Ты бы язык-то поприжал, а то, не ровен час, отскочит. У него и фамиль знатная, Атаманов, одному Богу известно, что на душе.

Мужики пороптали, но уже к вечеру привезли Данилке список, кому за кем молотить и сколько примерно у кого хлеба ожидается.

Через пару недель, уже ближе к октябрю, молотилку перетащили на гумно Павла Тагильцева, Верочкиного отца, Данилка сам приехал установить и опробовать. Хозяин крутился тут же, заискивающе заглядывал в глаза:

– Данила Богданович, ты своему скажи, чтоб поаккуратней, у меня пашеничка отменная от других, я семена в Шадринске брал, хлеб из нее пышный и не старится пятидневку.

– Не беспокойся, Павел Прохорович, все сделаем лучшим образом. Не беспокойся.

Уловил чутким своим умом Данилка, что ждет мужик разговора о Верочке, ждет, и приятен ему этот разговор, но торопиться не стал, через три дня приедет за молотилкой, вот тогда можно будет.

Кули с зерном в счет уплаты стояли у ворот сарая, ворох отборной пшенички выглядел солидно. Хозяин поблагодарил за машину и указал на кули:

– Данила Богданович, это как есть десятая доля, можешь не сомневаться.

Данилка в тон ответил:

– Сомнений нет, но зерна не возьму, а попрошу тебя, Павел Прохорович, сватов моих принять и отдать мне Веру Павловну в жены.

Мужик так и сел на мешки:

– Вот как обернулось! Ну да, мне сказывали, что интересуешься девкой моей, славно. Приходи в субботу со сватами, поговорим. А плату заberi, чтоб народ не судачил.

– Заберу, Бог даст – сочтемся, – степенно ответил Данилка, велел мужикам грузить кули и цеплять молотилку.

Сватовство получилось для Данилки неловкое, сам Тагильцев оказался не столь прост, каким воспринят был им на гумнах. Принял он гостей радушно, как водится, про товар и купца, мать с отцом невесту хвалят, сваты – жениха. И тут Павел Прохорович говорит:

– Хотел бы я знать, Данила Богданович, почему ты на поселение один приехал, без отца, без брата, ведь молод еще, в чужие края я бы сына одного не отпустил. Что ответишь?

Данилка взглянул ему прямо в глаза:

– Отец у меня кожевным делом занят, это из старины идет, так что достаток есть. Я младший в семье, не могу сказать, по какому случаю, дело семейное, размолвка с отцом вышла, потому выдал он мою долю деньгами и велел удалиться с глаз родительских. Вот так.

Тагильцев крикнул:

– Не густо! А на родину тебя не потянет? Отдам тебе дочь, а совьешься в свою Рассею?

Тут Данилка улыбнулся:

– Разве ты не видишь, Павел Прохорович, что обживаюсь основательно? Зерно, что на молотилке заработаю, продам, новое дело хочу освоить, и уже все подготовлено, об этом после скажу, среди своих. Кирпичный пресс куплю, материала для строительства много требуется. И дом буду делать, как в городе, на два этажа. Так что семья у меня будет большая, никуда не стронусь, а на кладбище место отгорожу, на все времена.

Хозяин смутился:

– Зря ты про кладбище заговорил, не время, а планы твои заманчивы, да и начало выказывает мужика сообразительного.

Повернулся к жене, которая смиренно дожидалась главного: отдаст Веру отец, откажет или срок назначит для испытания?

– Твое слово, мать, говори.

– Решайся, Варвара Петровна, – подсказала сваха.

– Да что же ты, отец, и согласия дочери не спросишь? А ежели он ей не люб? Проклянет нас навеки.

Отец засмеялся:

– Похоже, что дочь плакать не будет. Вера, выйди к людям и скажи, как родителям поступить.

Вера вышла из горницы, прикрыла лицо платком, от смущения слезки на глазах:

– Воля ваша, тятя, так и будет, как скажете.

– Тогда, мать, ставь на стол, закрепим сговор, как положено.

На стол богато наставили, и гусь жареный с крупой, и картошка тушеная со свининкой, и копченое мясо, а солонины огородной во всяких видах, а сдобы хлебной! Налил хозяин всем по стопке, встал над столом:

– Провозглашаю вас, Данила Богданович, и дочь моя Вера Павловна, женихом и невестой, завтра после обедни в церкви объявлю, так что проздравляю. А свадьбу назначай сам, Данила Богданович.

* * *

И четвертому сынку Данила Богданович был рад, как первому, когда повитуха вышла из спальни и объявила:

– С сыном тебя, благодетель!

Данила пал на колени и троекратно перекрестился. Вот какую силу поимел в сибирских краях новый род Атамановых, пять мужиков, пять семейств будет со временем, ничем не пережать и ничем не перекусить наше слово и дело! Встал с колен, поклонился повитухе и прошел в комнату. Вера Павловна лежала на широкой кровати и кормила грудью новорожденного.

– Покажи-ка мне сына, Верочка, дай взглянуть.

Нянька отняла ребенка от груди и повернула личиком к отцу.

– Ты мне его разверни, хочу видеть мужика!

Все исполнили, несмотря на морозы, в доме было тепло, размлевший отец сюсюкал:

– Верочка, да он в твою породу будет, беляна, и личико твое, красавец, беда для девок, помяни мое слово!

– Ладно тебе, давай, Палаша, будем кормить, он уж плачет.

Отец еще минутку полюбовался и вышел. Ваня, Петр и Володя стояли в зале, он обнял их всех сразу:

– Брат у вас появился, ребята, но к маме пока нельзя, пойдите в свои комнаты, займитесь делом.

– Каким, батюшка?

– Ванюша, учи меньших азбуке и счету, счет надо знать назубок, так я тебя наставлял?

– Так, батюшка.

До глубокого вздоха, до тайной слезы, до боли сердечной рад был жизни Данила Богданович: и с женой ему повезло несказанно, хозяйка, красавица, на ребят плодovitа; и дела его выстраиваются в заметное предприятие, вот маслоделательный заводик направит, и на всю жизнь занятие, потому что никогда не исчезнет с деревенского двора корова-кормилица; и ребята растут, сначала в доме помощники, потом на хозяйстве, а следом в армию идти, отслуживать своё.

Гришаня рано стал помощником в лавке, где вся деревня отоваривалась необходимым в зачет сданного молока, был он, как девица – круглолиц, лицом бел, волосом рус, да наглажен всегда и начищен, звали его бабы любовно белоручкой. Грамоту знал хорошо, газеты отец выписывал и книги привозил с городских ярмарок. Не раз и Гришаня вместе с отцом ездил в Петропавловск, в Шадринск, в Ишим с маслом и мясом, несколько дней проводили, отец выжидал цены, потом оптом отдавал товар за наличные золотые монеты. Возвращались в разных упряжках, Гриша налегке на рысаках, а Данила Богданович в заплатном полушубочке и рваной шапке на ленивой Пегухе в простых дровенках, золотишко за пазухой, с другой стороны револьвер, а в ногах двухствольный обрез, картечью заряженный. Было дело – в женское одеяние облокался, лишь бы разбойничьи глаза отвести.

Когда Грише подошло время для военной службы, во всю шла Германская, и Даниле Богдановичу многих средств стоило добиться, чтобы сына направили на Восток, подальше от фронта. Незадолго до этого вдруг приехал старый Богдан, держал связь с отцом письмами через надежного человека в уездном городишке, тот все передавал, вплоть до денег, а вот о приезде старого не упредил. И рад был Данила обнять отца, вместе поплакали по матушке, умершей прошлым годом, но вместе с гостем в память вернулось забытое, душа растревожилась, дурные предчувствия обуяли. Война эта проклятушая, да революции, в городе и то против властей выступают деповские.

Все хозяйство показал отцу Данила Богданович, и доброе стадо сементалок на выпасах, и маслоделательный завод, на котором перерабатывается в год по двадцать тысяч пудов молока. Но старого Богдана особо восхитил дом, сложенный из кирпича, первый этаж – лавка и столовая для работников, а второй жилой. Красавец, не дом, заезжие мастера такими каменными узорами изукрасили стены, что любо посмотреть. Богдан и с той стороны походил, и с другой – все хорошо, а потом вдруг расхохотался:

– Вот они где, панские-то злоты!

– Ты что, батя, со свету меня хочешь сжить? – Зашипел насмерть перепуганный Данила Богданович. – Или самогонка сибирская покрепче твоей горилки?

– А чего я такого сказал несуразного? Аль не видели сибиряки, что ты с добрыми грошами явился к ним?

– Видели, да ничего не знают, и ты бы помалкивал.

– Ладно, коли так, – покорно согласился старик.

1

Григорий шел по заснеженным улочкам уездного городка походкой военного человека, за годы окопной жизни не растерявшего навыки строевой подготовки: слишком строг, даже суров был ротный фельдфебель, ножку тянуть учил, спинку держать, ручку наотмашь кидать правильно. Он так и говорил ласково, поучительно: ручку, ножку, а новобранцы после строевых занятий валились прямо на плацу, так уставали. Пожухлый, но молодцеватый фельдфебель поучал сморившихся ребят:

– Не для себя, для вашей же пользы следно строевым шагом идти, словно лебедушка, чтобы волос на голове не шелохнулся, ежели космачом. Вот я призван был в Шагаловку, небольшенький гарнизон, а строем ходить учили сурьезно. И представьте себе, что я, к примеру, отлынивал бы и не желал успеха, и что бы с этого получилось? А на принятие присяги к нам нагрянул сам Государь Император! Эх, как же мы прошли, как прошли! Государь прослезился и велел выдать каждому по полтине. Вот и вы расчет имейте, а вдруг...

Месяц назад январским ранним утром высадили новобранцев на перроне Томского вокзала, построили, повели в казармы. Григорий Атаманов шел налегке, домашняя стряпня давно кончилась, пустой мешок отдал ребятам. Помыли в бане, выдали форму, целый день дали командиры, чтобы каждый под себя подогнал гимнастерку, брюки и шинельку. Вечером опять построение, суровый поручик обошел строй, отрапортовал подполковнику.

– С сего дня началась ваша служба в Русской Армии, которая сейчас воюет на западных рубежах. Мы будем учить вас воевать, учить быстро и строго. Начнете с уставов, примете присягу на верность царю и Отечеству, дальше – конкретное дело. С Богом, сынки! Поручик, командуите!

За обедом Григорий вспомнил, что именинник сегодня, 29 января, исполняется 18 лет. Осмотрелся, знакомых никого, так что и говорить не стал. Вестовой остановился в дверях столовой:

– Атаманов! Есть такой?

Григорий вскочил:

– Есть!

– Быстро за мной в штаб!

В штабе пожилой штабс-капитан предложил сесть, открыл картонную тетрадку:

– Атаманов Григорий Данилович, так? 29 января 1898 года рождения, так? Э, брат, с именинами тебя. Не вставай! В твоих бумагах есть рекомендации, где показан ты как человек грамотный, это соответствует?

– Так точно, господин штабс-капитан, но это все самоподготовка, тренировка. Отец у меня деловой человек, у нас все братья грамотные, меня хотел в Санкт—Петербург отправить учиться, да война помешала.

– Пишешь хорошо?

– Пищу красиво, – похвастал Гриша и покраснел. – Много тренировался, почерк набатывал.

– А ну, напиши вот тут, к примеру, «Русский солдат служит правому делу Государя своего».

Григорий написал бегло, офицер взглянул и одобрительно улыбнулся:

– Пройдешь подготовку до присяги вместе со всеми, а после к себе заберу, писарем будешь при штабе, тут и койку тебе организуем. Все, беги в казарму, и никому ни слова.

Через несколько дней в казарму привели маленького кучерявого человека со странным ящиком и треногой. Фельдфебель крикнул:

– У кого гроши есть, могут фотокарточку сделать и родным выслать. Быстро!

Гриша тоже встал у высокой тумбочки, на которой лежала раскрытая книга устава. Кто-то бросил солдатскую папаху:

– Надень, чтобы лысину прикрыть, дома не узнают без кудрей!

Вспыхнул магний.

На фотокарточке Гриша сам себе понравился, две прибрал в тумбочку, на одной написал своим красивым почерком: «гор. Томск, 12/11—1916 г. Первая неделя службы. Г. Атаманов» и с письмом отправил домой.

... Григорий улыбнулся теплым воспоминаниям, свернул в ограду большого дома и уверенно отворил дверь с табличкой на куске картона: «Уездный военный комиссариат». Сюда месяц назад демобилизованный солдат явился для взятия на воинский учет, как требовал порядок. Он тогда еще весь был в казенной службе, так надоевшей и противной его существу, воевал за Веру, Царя и Отечество, потом переворот и все перевернулось, сменили командиров и знамена, прошли скоротечные братания со вчерашним врагом, солдаты которого тоже не понимали, что происходит. Комиссар, глянув в его документы, заулыбался:

– Это хорошо, что ты писарем при штабе служил, мне человек с хорошей рукой ой, как нужен.

И предложил работать в военкомате, пока в учетном столе, а там видно будет.

Отец Данила Богданович эту новость воспринял с нескрываемой радостью:

– Соглашайся, сынок, мы в деревне и без тебя управимся. Невесту себе присмотришь в городе, домик куплю, человеком станешь. Власть к деловому человеку враз повернулась, поняла, что с голодранцами можно только митинги митинговать, на нас все держится. Ей Богу, глянется мне власть эта, лишь бы не мешала.

Григорий не узнавал отца, какой-то он стал суетный, неровный, с работниками мог заигрывать, нарочито заботливо интересуясь семейством и близкими, которых и без того хорошо знал, перед председателем волостного совета противно лебезил, хотя тот всего три года назад был на маслозаводе в работниках. Даже флаг красный Григорий в казёнке увидел, стоит на обструганном древке в трубочку свернутый. Спросил отца, тот гневно бросил:

– Не лезь, а так надо.

Григорий прошел в дальнюю комнатку к своему столу, открыл металлический шкаф и положил на стол стопку бумажных папок, это и была сегодня его служба: учитывать всех лошадей в уезде, будь то в крестьянстве, в городе или в новых советских учреждениях. Особого удовольствия он не испытывал, каждую неделю выезжал в волости, сверял свои данные с записями в волисполкомах. Часто и там никакого учета не было, приходилось жить по нескольку дней, обходить дворы и записывать, у кого что есть: лошади, телеги, дрожки, сани, кошевки, сбруя.

В комнату заглянула Танечка, симпатичная машинисточка из приемной комиссара:

– Григорий Данилович, к нам прибыл уполномоченный из губернии, фамилия Разбашев, вы в отъезде были, так он хотел встретиться.

Григорий кивнул, такую фамилию он не слышал, но надо так надо. Стал сверять списки и вносить поправки, несколько листов переписал заново. Бестолковая работа, но другой нет.

Он поднял глаза на неожиданный и в то же время довольно настойчивый, почти хозяйский стук в дощатую дверь, но не успел сказать уместное в таких случаях слово «Войдите!», дверь отворилась и высокий человек в строгом гражданском костюме, наклонив голову под низеньким косяком, вошел в комнату и повернулся к столу, за которым сидел Григорий:

– Здравствуйте, я Разбашев, офицер губкомиссариата.

Григорий вскочил, но Разбашев предупредительно поднял руку:

– Сидите, я на минутку.

Григорий все еще растерянно смотрел на гостя, совсем ничего не понимая, не понимая, почему полковник Деркунский, начальник штаба полка, в котором служил Атаманов до смут-

ного семнадцатого года, вдруг стал Разбашевым, почему он сбрил бородку и усы, которые украшали его и были предметом зависти молодых солдат. Почему, наконец, он здесь, в Ишиме, ведь весной семнадцатого он исчез из полка, поговаривали, что сбежал к немцам, это большевичок Измествев больше пропагандировал, но Григорий и другие солдаты не особо верили, потому что Деркунский был хороший человек, кровей благородных, но не гнушался общением, и даже унтера из соседней роты отдал под суд за мордобой, и в атаку ходил, и на митингах выступал, призывая быть верными Отечеству и Государю.

– Как ваши бумаги, все ли в порядке? – Разбашев сел напротив Григория и указал на папки. Атаманов молча открыл верхнюю, вот первый лист, переписаны лошади и упряжь Бердюжской волости. Разбашев взял тетрадь, вынул из середины лист, карандашиком быстро пробежался по бумаге. «Напишите свой адрес и будьте дома в двадцать часов», – прочитал Григорий и молча кивнул, тут же черкнул название улицы и номер дома. Разбашев вынул портсигар, размял папиросу, зажег спичку, закурил, к горячей спичке поднес листок, тот вспыхнул белым пламенем и развалился в пепельнице, которую он тут же вытряс в деревянный ящик с бумагами.

– К утру подготовьте мне информацию по конскому поголовью, возможно, дадим наряд на формирование пополнения конницы. До свиданья.

Разбашев встал, простился кивком головы и вышел. Григорий чувствовал, что взволнован и растерян, опасался, что не дай Бог, войдет кто, не скрыть своего состояния. Он отошел к окну, широко расставил ноги, уронил голову на грудь и начал считать: «Один, два, три...». Так учил его сослуживец бурят Дашиев, он много знал секретов человеческой природы, из всех ребят выбрал Атаманова, с ним делился, учил засыпать быстро, умирять боль, забывать о голоде, когда на фронте начались перебои со снабжением. Григорий сердился, если не получалось, но товарищ хладнокровно объяснял, что кроме знания еще и вера нужна, Будда должен быть у тебя в сердце, без него нет полного подчинения тела мысли. Вот и вместо бурятской молитвы предложил считать до десяти. Ничего, помогало...

Наскоро поужинал Григорий, удивив хозяйку квартиры равнодушным отношением к столу, даже любимый студень только поковырял вилкой. Горячие щи со свиной, щедро посылаемой отцом из деревни, только отхлебнул и поставил тарелку в сторону. Толченую картошку с мясом даже попробовать не стал, выпил чашку горячего чая и поднялся из-за стола.

– Не приболели, Григорий Данилович? И кушать не стали, – заботливо заглянула в глаза хозяйка.

– Спасибо, здоров, может, после поем. Пойду к себе, займусь бумагами.

В просторной горнице прилег на кровать, заложил руки за голову, так думалось лучше, а если вдруг вздремнется, то сон почуткой, от мышиноного шелеста в себя приходишь.

Конечно, случайно вышел на него Деркунский, не мог знать полковник, что штабной писарь Атаманов служит в военкомате. А может, в губернском списке сотрудников встретил знакомую фамилию? Ну, не к нему же специально ехал такую даль, значит, есть у него другие дела в городе, а то и в уезде, кроме прямых служебных? Лошадей ему, видите ли, посчитать. Возможно, есть в городе скрытое подполье контрреволюции, есть люди, готовые и сегодня подняться против советской власти. Григорий похолодел: а ведь есть, и он, скорее всего, с этими людьми встречается, не слесарьки же они в деповских мастерских, а должностные лица, которые что-то имеют в руках: связи, людей. А что спросит его господин полковник, и что ему отвечать? Готов ли Григорий Атаманов примкнуть к движению? А потом что? Днем на службе у советов, а ночью пакостить, склады поджигать, или как?

Про ожидаемого гостя решил хозяйке не говорить, к нему и раньше заходили сослуживцы, смирновские молодые мужики, по делам оказавшиеся в городе, даже ночевать оста-

вались. Когда залаял пес, и хозяйка стукнула дверью, выходя на ограду, Григорий поднялся, привел себя в порядок, глянул на часы: точен командир, как всегда, минута в минуту.

– Григорий Данилович, вас требуют, – крикнула хозяйка из сеней.

Он скоренько выскочил на крыльцо, в калитке стоял незнакомый мужичок невзрачного вида, до неприличия безразличный.

– Фатеранта мне надо, забыл фамиль.

Григорий поморщился:

– Чего хотел?

– А ничего. Вот увидел, и назад, только и делов, прощения просим.

– Он сумасшедший? – спросил Григорий хозяйку.

– Не знаю, вроде не с нашей улицы, пьянь какая-то. Откуда он вас знает?

Григорий пожал плечами и вернулся в комнату, не успел присесть, как снова залаяла собака.

Григорий остановил хозяйку и вышел. В калитке стоял Деркунский.

– Представьте хозяевам как уполномоченного из губернии, с них довольно. Кто еще в доме?

– Только хозяйка, одна.

– Проводите.

В доме Деркунский стал любезней и даже заигрывающее поздоровался с хозяйкой, чем очень ей польстил, разделся, над горячей плитой погрел руки, попутно поговорил с ней о погоде и ценах на рынке. Когда ушли в горницу, спросил:

– Она не любопытна?

– Не замечал. Да и дверь плотная.

– Этого мужичка я направил, дал на водку, простите, бдительность требует, мало ли кто мог меня встретить. – Он поднял руку:

– Без обиды, надеюсь на понимание. Теперь о деле. Я представляю руководство подпольного белого движения, есть такая организация в Омске, да и в Тюмени тоже, правда, скромнее. Вас я вычислил по документам в военкомате. Помню, что были хорошим солдатом, даже из штабного тепла ушли на передовую. Достоинно! Таковым и остаетесь, или комиссары успели перевоспитать?

Григорий честно признался, что не особенно озабочен своими политическими убеждениями, просто служит, от партийности отказался, пока оставили в покое. Конечно, по старой жизни тоска, все-таки у семьи дело было заметное, отец крупно был на виду, но и теперь не бедствуют.

– Так-так, – хмыкнул Деркунский. – Если ничего не изменим, собственности отца лишат, да еще и в каторгу отправят. У них все должно быть казенное, абсолютно все. Ну-с, ладно. Для вас я себя обозначил только потому, что все равно весь на виду. Мне важно теперь, готовы ли вы примкнуть к движению? Не заки в советских кабинетах патриотический дух истинно русского человека? Можно вам верить?

– Да, – твердо ответил Григорий.

– Слава тебе, Господи! Бога благодарю не только за нового нашего сотоварища, но больше за то, что не извелись на Руси люди доподлинно русские, православные, да еще за то, что не отнял он у меня способность этих людей находить. Их много, Атаманов, на крайний случай, достаточно, чтобы переломить положение в стране. Власть слаба, вы не можете этого не видеть, к тому же бездарна, столько ошибок совершает, хотя ее ошибки нам на руку. Завтра я передам ваше имя нашему человеку для связи, вам предписываю действовать, находить верных людей, да вы их знаете, очевидно. Обращайтесь к старикам в зажиточных семьях, твердая опора. Итак, прощаюсь, меня искать не надо, уверяю, вы будете в курсе всего, и о часе вас известят.

2

Затянуло белым снежным наволоком пустые поля и покосы, лишь тонкая строчка санной конной дорожки перечеркнула увал до ближайшего лесочка, там она благоразумно обогнет преграду, не погнал свою лошадку тот, кто торил первопуток, сквозь кустарники и мелколесье. И точно, конские кованые копыта и железные ленты санных полозьев хорошо умяли дорожку, ветер уж не мог взять с нее снега, не мог выдрать, а потому злобно выдувал все рядом, отчего дорожка приподнялась над равниной и служила всю зиму, даже в ночной беспросветной падеде конь находил твердыню и выносил человека к жилью, не давал погинуть.

Ловкая кобылка неспешно тянула вдоль леса легонькую кошевку, плетеную из тонких ивовых веток и окаймленную хорошо отполированными березовыми брусочками. Такие кошевки для саней и ходков плел только дед Маркел, да что там – многие пробовали, но и прут не тот, и узора нет, и кошева так себе, можно в гости ехать, а можно и навоз со двора вывозить. Аркадий не торопил лошадку, они свыклись уже, сейчас спешить некуда, а коли потребуется срочно в уезд по вызову, двадцать верст вмиг покрывали и на заседания не опаздывали. Волостной конюх не раз предлагал председателю вороного с отливом иноходца, говорят, из конюшни самого купца Бокарёва, но тот не хотел: ему больше годится спокойно лежать в тулупе, накрывшись попоной, и спокойно думать, чем держать на натянутых вожжах неукротимого яруна.

Простреленную руку он в морозы берег особо, не дай бог застудить, разнесет – рубаху не надеть, опять же и по хозяйству надо. В первые дни зимы подхватил простуду, такой пролом образовался, что даже раздробленные косточки выходили. Тронута, стало быть, кость, вот и нудит. А так ничего, даже дома со скотиной управляется – никакой боли. Хирург в Ишиме обещал, что обрастет наджабленная кость хрящом, успокоится.

Теперь уж и не шибко важно, кто подстрелил, белый или красный, все минуло. А когда Колчак пришел, снова все закипело, не понять, что затворилось, пришлось в ночь решать. Он мужик справный, было что терять, потому свел к знакомому казаху на лесную стоянку пятерых коней, да трех коров дойных, да быка-производителя с добрым семенем, которым половину деревенских коров обслуживал. Казах шурился, улыбался: «Дружка, дружка, караулим, снег зароем – никому не отдадим». Строили они в укромных местах низкие навесы из жердей, с осени сено туда завозили, первым же снегом их скрывало от людского взора, а проведовать раз в неделю пробирались с разных сторон, так что надежно. Да и не думалось ему, что до зимы бега затянутся.

Был слух, что колчаковцы всех подбирают под мобилизацию, Аркадию это светило в первую очередь, потому что служил и военное дело знал, но уходить от родных мест с бегущей армией смысла не было, либо пропадешь, либо прижмут к океану, и вплавь отправишься в чужие земли. Бежал впереди отступающих войск аж под самую станцию Маслянскую, голодал, ночевал в копнах соломы, в небольших деревнях тихонько покупал хлеб, платя серебром. Обовшивел, выхудал, дошел до отчаяния, до края, решил на возвращение в родные места, а там – что будет. Теперь уж шел навстречу фронту, прислушивался, как зверь, от дороги далеко не удалялся, особенно в лесах. И осторожен был, а троих всадников просмотрел, кинулись за ним в чащу, да неловко в темноте по кустам, стрельнул один наугад, и надо же – попал, так руку ожгло, что хоть кричи. Перетянул разорванной нательной рубахой, крови много вышло, да и больно. Дождался утра, подошел к селу, издали увидел красный флаг над крышей двухэтажного дома, туда и подался.

Часовой у высокого крыльца остановил окриком:

– Кто такой и по какому делу?

– Раненый я, мне бы фельдшера.

– Дак ты, похоже, из колчаковцев доброволец, – хохотнул часовой и крикнул: – Степа, к тебе работа сама пришла, принимай.

На крыльцо вышел красноармеец в накиннутой на плечи шинели.

– Заходи, – сказал он.

В угловой комнате большого купеческого дома стояли стол и три табуретки. Хозяин прошел вперед, гостю кивнул на табурет.

– Говори, только коротко. Имя полностью, место жительства, документы, какие есть.

– Из Бердюжьего я, крестьянин, отслужил срочную, демобилизован, на то документ есть. От Колчака ушел, но дело к зиме, надо домой возвращаться, да и каково там – тоже не знаю.

– Откуда ранение?

– Не знаю, встреч попали трое верховых, подался в сторону, вот и подстрелили.

– Наши были?

– Не знаю, темно, бантов не видать.

Военный посмотрел документы, которые Аркадий извлек из подкладки стеженной фуфайки, устало потянулся:

– Зайди в дом напротив, там фельдшер, перевяжет. Если заартачится, скажи, что Бухтармин из разведки направил. От него – ко мне, а я пока справки наведу. Не боишься?

Аркадий устало улыбнулся:

– Нечего мне бояться, я свое отслужил, крестьянствовать начал, да вот Колчак сшевелил.

После перевязки снова подошел ко крыльцу, но часовой преградил дорогу, сказал, что разведка уехала в Казанскую и что ему велено возвращаться по месту жительства, там тоже советская власть.

Аркадий прошелся по деревне, увидел мужика, поправлявшего сопревший заплот.

– Доброго здоровьица!

– И ты будь! – согласился мужик.

– Не довезешь меня до Бердюжьей? Заплачу, сколь согласишься, есть чем.

– А ты откуда? Меня за ширинку не подвешат, что кого попало развожу?

Аркадий рассказал кратко свою историю и беседу с офицером контрразведки, показал документы. Мужик пошел запрягать лошадь.

Ехали молча. Ближе к вечеру подкатили к селу, хозяин остался у лошади, Аркадий пошел в дом, вернулся с несколькими звонкими монетами, возчик на зуб пробовать не стал, оглянулся, не следит ли кто, спустил монеты в самодельный кожаный сапог.

– Ну, ты чего не заходишь? – Петро Журавлев, друг и ровесник, в одной пулеметной роте полтора года воевали, в один день демобилизовались. Петро активный был, вступил в большевики, колчаковцев переждал на займке, которую оборудовал еще в парнях. Посреди Тимкина болота зимой, когда свободно можно зайцев погонять, малый островок твердой земли нашел, кругом камыш двухметровый. Летом с великим трудом на лодке пробился, соорудил избушку из припасенных бревен, печку сложил, тропку нашел, по колени в воде можно добраться. Баловство, а избушка пригодилась. Петро сам себя хвалил, что никто о его тайне не знал, потому спокойно ушел из дома, как в воду канул. Отца с матерью потрепали немного, да разве они скажут, скрылся, а куда – не докладывал.

– Ты чего не заходишь? – переспросил Петро и взял под руку товарища. Аркадий охнул. – Ранен? Давай, заходи, ко мне вечером комиссар подъедет, будем решать, чем помочь красноармейцам.

– А тебя кто уполномочил? Ты же, вроде, в волостных начальниках не был.

– Эх, Аркаша, я же в партии большевиков состою, мы тут было ячейку создали, да пока разбежались все, и кое-кого и колчаковская контрразведка вышнурила, стукачок рядом с нами был. Да, если прямо, нас всех знали, так что дива немного, а товарищей жалко. Ты теперь куда?

– Домой. Надо разобраться с хозяйством. Как мыслишь, советская власть даст волю мужику?

Петро засмеялся:

– А ради чего мы с тобой воевали, вшей кормили? Да за ради будущего! За зиму лесу напилим, весной начнем дворы большие рубить, скотину расширять. Посевы надо увеличивать, грамотных людей нанимать, чтобы все по науке. Впереди столько дел, Аркадий, аж душа замирает.

Сидели за столом, Аркадий молча ел и слушал товарища. Да, нисколько не переменялся Петруха, даже еще азартней стал, пуше, чем на ротных собраниях, слово лепит. Хозяйка вышла из горницы, поворчала на мужа, что горячего ничего из печи не достал, налила щей в чашку, на тесаную доску выставила сковороду с остатками жареной картошки. Аркадий хлебнул горячего и попросил убрать: с голодухи боль возникла в желудке.

Петр закурил, наполнив избу ядреным самосадным дымом. Русые волосы волной откинуты назад, серые глаза смотрят прямо в душу, губы пухлые, как у подростка, голос уверенный и тон категоричный.

– У тебя хозяйство ладное было, сам скрылся, а скотину куда? Колчака кормить?

– Скот прибран, только бы казах не сдал.

Петр встал, прошелся по избе:

– В партию не думал вступать? Нет-нет, я тебя не подозреваю, ты и в армии отказался, но воевал добре, позлее некоторых большевичков. Но теперь даль ясная, надо людей организовывать, а без партии тут не обойтись.

Аркадий улыбнулся:

– Это ты уже от новых комиссаров нахватался политики?

Хозяин тоже засмеялся:

– Обожди, подъедет полковой комиссар, враз просветлеет головушка.

Во дворе твякнула собака, Петр бросился в сенки, на крыльцо:

– Здравия желаю, Вадим Дмитриевич, проходите, у меня в аккурат товарищ фронтовой в гостях, тоже из схрона идет.

В избу вошел затянутый в кожу и ремнями перекрещенный молодой человек, сурово взглянул на Аркадия, крепко пожал руку, присел:

– О чем разговор? Я не помешал?

– Разговор, товарищ комиссар, об том же, как дальше жить. Теперь все, военная тропа закончилась, начинается трудовая, мирная, вот и надо ее устроить.

– Товарищ Журавлев, ты понимаешь, что я отстал от своего подразделения исключительно по заданию центра, чтобы восстановить, насколько это возможно, органы советской власти и партийные ячейки. Мы только что вернулись из Уктуза, там боевые товарищи, есть ячейка, избрали волисполком. Если прямо – назначили, но нам сейчас не до либеральных тонкостей. Тебя рекомендую секретарем партячейки, нужен человек на волисполком.

– Вот он, – Петр кивнул на друга. – Человек проверенный, хозяйственный, правда, живет в другой деревне, но это мы вмиг решим. И в партию вступит сей же час.

Опять звонко твякнула собака, Петр крикнул жене, чтобы вышла.

– Хозяйка, крыночку молока не продашь? Больно молочка захотелось, затосковал.

Хозяйка, видно, из кладовки достала кринку, опять голос:

– Нет, деньги возьмите, советская власть у крестьянина даром ничего не берет.

– Слышали? – Гордо улыбнулся комиссар. – Вот с какой политикой мы идем к крестьянину, и вам ее выполнять. Аркадий Егорович, понимаю, что крестьянскую жизнь знаете, воевали, а как с грамотой?

Аркадий смутился, сказал, что в бурсе окончил три класса, политграмоту проходил на службе.

– А с партийностью? В войсках не захотели вступать?

Аркадий такого вопроса не ждал, но решил отвечать прямо, не тот случай, чтобы темнить.

– Скажу откровенно: сомневался, что крестьяне наши воспримут советскую власть. Я же видел, что мужики из Расаи на смерть шли за ради земли, а мне это чудно, у нас ведь земли – паши, не перепахать. Боялся землякам врать, ведь партийный – это как бы ответственный за власть, я так понимаю.

Комиссар обрадовался:

– И правильно понимаете, товарищ! Именно ответственный! Сход на утро назначим, Журавлев, вам поручаю известить население, вопрос один: выборы волисполкома.

3

Неделя подходила к концу, в субботу, по договоренности с начальством, Григорий мог поехать в Смирнову к родителям. Он любил бывать в родном доме, где к его приезду пахло пирогами, были жарко натоплены печи и ждала баня – чистая, срубленная из комлевых сосновых бревен, и каменка выложена уральским блескучим камнем, искрящимся от перегрева и залпом выбрасывающая сухой пар после щедрого ковшика ледяной воды. Два березовых веника предусмотрительно замочены в кадке с холодной водой, живший при дворе бобьль Ероха знал толк в банном деле. Он и веники вязал на отличку от других: день выбирал особо после Петра и Павла, и рощу с молодыми березками, и веточки ломал только с одной стороны дерева, где они мохначе, богаче, кучерявее. Потом сидя в тенечке, аккуратно отбирал веточки одну к другой, выравнивал по контуру веничка, сжимал и стягивал конопляной бечевой комельки в нескольких местах, так что ручка получалась ловкая, удобная. После возвращения со службы научился Григорий париться двумя вениками, Ероха и научил, когда застудил ноги молодой хозяйин.

– Ты оберучь бери веники и обихаживай себя с обеих сторон, в сильный жар смотри только, чтобы шкура не лопнула. Сказывают, бывали такие случаи, когда особо усердные кутяки себе прижигали напрочь, вплоть до бабьего позору.

Григорий в одних кальсонах и фуфайке, наброшенной на плечи, в просторных дворовых валенках перешел через ограду на огород в баню, она всегда ставилась отдельно от хозяйственных построек, на случай пожара. В предбаннике повесил на крюк фуфайку, на скамейку положил мохнатую белоснежную простыню, такую мать всегда готовила к его приезду. Ероха вышел из бани мокрый, как водяной.

– Обожди минутку, Григорий Данилович, я полок помыл да сухой травки кинул, пусть просохнет и запахи обнаружатся.

– А траву зачем, Ероха?

Мужик хохотнул:

– Баня заведение мокрое, сырое, тут всякие твари могут размножаться и даже дурность воздуха. А трава, она же наша, в смирновских лесках я ее собираю каждое лето, у меня под крышей сколько вязанок всякого разнотравья хоронится. Разве не замечал, что в бане пахнет июлем месяцем?

Григорий замечал, и все эти премудрости знал, но ему любопытно еще раз услышать нехитрый рассказ об особенностях Ерохиной бани.

– Венички я распарил, коли знал, что ты уже наготове, так что приступай, но не сразу. Я вот тебя поучу. Ты сперва кинь на каменку ковшичек и посиди в вольном жару, как пот хорошо прошибет, ну, потекут струйки промеж лопаток, тогда еще ковшичек. Только благословись, так и скажи: Господи, благослови! Ну, да ты знаешь. Теперича можно легонько попарить сначала ноги, потом повыше, тут самая нежность и аккурат, когда все тело пройдешь, упеть ковшичек, тут уж в полную силу. Три раза должен выходить в предбанок и отдыхать, а то кровь возмутится. Тоже, слышал, случалось такое, что кровя разгонит по организму мужик, емя деваться некуда, туда-сюда – кругом заперто, а он жарит. Ну, кровя и находят слабинку, кому в голову, кому в брюхо. Бывало. Ладно об этом. Можя, попарить тебя?

Григорий засмеялся:

– Спасибо, не надо, иди домой.

– Да мне, Григорий Данилович, некуда спешить, избушку, благодаря Даниле Богдановичу, имеем, а окромя ничего. Впустую живу. С кошкой разговариваю.

– А не женился почему?

Ероха вздохнул:

– Когда батюшка твой к нам появился, я к нему в работники подался, молотилку он прикупил. Ну, дело молодое, дал он мне осенью расчет, я и посмел невесту сватать, лавочника Чалкова дочь. Тестюшка меня вожжами ременными отхлестал и сватов моих заодно, ладно, что кобеля не спустил с цепей. А девку мою в Лариху отдал, она там разродиться не могла, померла. А я тут помер. Годов уж много прошло, да разве я живу? Как во сне. Её казенную ноченьку вижу, только слов нет, погляжу, и все тут. Утром встану – тоска... Пошел я.

Григорию тоже стало грустно, вот посмотреть – так себе человек, грамоты нет, ученых книг в руках не держал, а душа светлая и весь очарованный, когда о ней говорит. Имя ее не назвал, может, и забыл уже, а как светло любит. Надо отцу сказать, чтобы поласковой с ним...

Конечно, заметил Григорий, что баня стала отдохновением души, не просто телесным, а духовным очищением. Он с наслаждением поднимался на высокий полок, погружаясь в объятия неуловимого, но ощущаемого жара, прогреваясь и потея, стирая с лица – со лба до подбородка – пригоршни влаги и сбрасывая на пол. Пригибаясь под волной горячего воздуха, кидал на каменку ковшик ледяной воды и повизгивая почти пощечьями, истязал вениками свое крепкое и здоровое тело. Три раза, как и учил Ероха, выскакивал в предбанник, сидел на корточках, охолонув, окатывался ушатом холодной воды и взбирался на полку, чтобы снова стонать и охать от усилий и удовольствия.

Мать встретила его и проводила к столу, самовар был уже заглушен, но удовлетворенно урчал, выплескивая в открытый краник бурлящий кипяток.

– Вот заварка, сынок, на травах, тут и медуница, и мята, и шиповника цвет, все от леса да луга, свое, родное.

Точно, как и Ероха: свое, из леса и луга. Как хорошо дома! Окунуться в эту простоту и забыть о той жизни, что бурлит рядом, выворачивая с корнями устоявшуюся обыденность, вклинивая в каждодневность жуткую новь. Нынче он собирался поговорить с отцом, немилу ему в городе, чужда служба в ведомстве, непонятны длинные речи на заседаниях в исполкоме. А тут еще и разверстка, он в активе, придется выбивать из крестьян хлеб. Каково?!

Отец кивнул: проходи в кабинет, коли важный разговор. Мать всплакнула: опять сын уходит, не навиделась, не наговорила. А утром чуть свет уберутся на заимку, зверье гонять.

Григорий хотел попросить совета отца, как жить дальше, оставаться в городе не хотелось, манила родная деревня, знакомые люди, про Глашу родные уже знали. Всю осень выходные дни проводил на молотье, все тут радовало: и хлеб урожайный, и настрой мужиков, и природа. А потом разговоры пошли, что заберет власть хлеб, в уезде в открытую обсуждались цифры доведенного задания, они были страшными. Новыми красками взвосьяло уже знакомое слово продразверстка. Оно отдавало жестокостью и бесшабашностью, никто пока не понимал, как ее нынче будут проводить, но накапливалось предчувствие, что это новый этап борьбы. Вот еще дурацкое слово! Раньше парни и молодые мужики боролись на опоясках в масленку и на Пасху, широким домотканым поясом опоясывали мужика в талии в два обхвата, из праздничного украшения превращали в инструмент борьбы, ухватившись за опояски, борцы старались положить друг друга на лопатки. А потом началось: борьба с белыми, борьба с красными, с контрреволюцией и разрухой, теперь-то с кем? Не хватало понятия, чтобы уловить, к чему приведет эта борьба. Он знал, что у отца мнение есть, но до поры до времени при нем и останется, не тот человек старший Атаманов, чтобы вываливать нутро на люди.

Данила и в душе и на людях был богомольным, киот в переднем углу просторного кабинета оборудовал славный, по его замыслу верхотурские иконописцы привезли образа и на месте собрали иконостас, достойный. Осветили и молебен отслужили, благословили хозяина и тройкой веселых коней доставлены были в город, оттуда почтовыми отбыли в свои края. Наживать добро и избежать зла человеку не дано, потому после греха, большого или малого, падал Данила на колени и молча стоял, уронив кучерявую голову на грудь, ни слова не лепеча, только

в мыслях прося милости, ибо знал, что Богу не только слова, а и помыслы ведомы. Вот и теперь подошел к иконостасу, осенил себя широким благодарным крестом, с минуту постоял в смирении, повернулся к сыну, готовый сказать все, что созрело в душе отца и хозяина.

– Ты на болотах бывал, и выбирать приходилось, известно тебе, что ни на каждую кочку можно ступать, иная с виду надежная, а кинься – и в пучину. Ты главное все-таки узрел, это добре. Перемены грядут. Мне надежный человек передал, что маслозаводик наш отымут. До каждого хозяина налоги доведут по самые ноздри. Год назад я все по другому мыслил, и тебе внушал, а нынче – баста! Власть себя обнажила. Лютая нелюбовь к мужику. Тот же человек сказал, что Ульянов подписал приказ вытряхнуть хлеб из Сибири, какой-то Каганович назначен главным по тряске. Буча вызревает сильная, я вижу.

Данила понимал, что не пришла еще пора сказать сыну все, он хоть и младшенький, но самый понятливый, толковый. Лицом в мать, стать его, отцовская, красивый парень, и умом Бог не обошел. Старшие определились, хоть и в иных краях, семьи, дома, при дельце, при деньгах, даже если и власть тряхнет, о черном дне возможном отец с юности их учил, золотишко и стекляшки в надежных местах закопаны, жены и то не знают. Данила, пробравшись в Сибирь, переменял все, вплоть до характера, только память не мог стереть, потому горькими мыслями мучился долго, пока новая любовь и детишки не завладели им полностью.

С первых новосельных лет отметил сметливый Данила, что совсем другой мужик в Сибири, там, дома, землицы нет, все у хозяина, или бери в наём или сам иди в работники, иначе погинешь. Хлеба досыта не едал до женихов, о каше помышлял больше, чем о девках и во снах жратва являлась чаще бабьей ласки. Когда случилось, и метнулся он подальше от греховного места, цельное лето урывками двигался к неведомому краю Сибири, где, по слухам, свободно живет человек. Он и фамилию взял дерзкую, с вызовом, не просто так, был Чайкин, стал Атаманов, потому что в Сибири жизнь показалась ему вольницей. Где это видано, чтобы земли столько было, столько, что бери и работай, засевай, плати малый налог и отделяй на общество, что положено.

Вот тогда сравнил он малорусского крестьянина с сибирским мужиком, и показался ему родовой земляк малым и убогим, с черными руками и согбленным плечом, глаза долу и голова ниц. И тогда же постиг Данила еще одну истину: только незастойность от всего, только личное благо есть свобода, когда у тебя дом и в дому, когда не сидишь на печи, потому что единственные подштанники баба простирнула и сохнут они тут же, на сковороднике перед печным целом, когда при входе в храм можешь кинуть нищим горстку мелочи, а на полтину поставить свечу Богородице – вот тогда свободен. И сосед, и староста, и урядник – все с тобой здороваются, по отчеству называют. Не важно, рассуждал Данила, что они о тебе думают, важно, что от мыслей грязных нет ничего на их лицах, а только уважение да почтение. И сибирский мужик через одного, а то и гуще, был таковым, сытым был мужиком, потому свободным. И на эту его неброскую независимость собиралась покуситься новая власть. О-о-о, большая глупость, большая...

На дальней заимке за смировскими болотами глухой осенней ночью собрались те, кого Данила Богданович счел нужным предупредить. Ехали верхом, с ружьями, без собак, чтобы не сбрехали, но вроде как на охоту. Двух наблюдателей поставили на обеих дорогах, а других нет, болота кругом.

Месяц только что народился, выгулялся среди звезд, любопытно ему, юному, что под ним творится. А и было на что посмотреть. Крепкие из крепких мужики из Смирновой, Травного и Песьяновой собрались на совет, как встречать новые поборы. Сами удальцы, да за каждым чуть не дюжина сынов и зятьев.

Данила начал на правах хозяина:

– Чаю и чарку не предлагаю, не тот случай, дозволит Бог, еще посидим за столом и почтаемся. Есть вести, что в столицах и городах голодуют, хлеб не уродился в иных краях, и власть

намерение имеет за счет сибирского мужика удержаться, иначе скинут. Уже есть документ, по которому все, что ни на есть, будут отымать. Это называют разверсткой и пришлют к нам продотряды, солдат, то есть. Это уже не налог, это грабеж и веревка хозяину. Вот и приплыли. Давайте судить.

Нехорошая тишина повисла над столом, пятнадцать человек сидели и каждый о своем думал.

– Ты бы не хитрил, Данила Богданович, – подал голос Иван Швецов. – Само собой, у тебя траты может быть больше, потому и дума вперед нашей. К тому же два сына у тебя во властях, может, послабление будет, а нам куда?

– За сынов оставь, Иван Гордеевич, они сами, как говно в проруби, не знают, куда приклониться. Во властях, но в моих руках, если надо – не пикнут.

Травнинский хозяин Федор Ташланов встал над столом, расправил бородку, меховую безрукавку запахнул:

– Я так вижу, что таперика у нас две дороги, как на эту заимку. По одной надо снять с себя все и голяком двигаться в коммуно, пешим, потому как лошадей, похоже, тоже мобилизуют. По второй надо не только самому верхом, а и в поводу лошадку иметь для того, кто пеш окажется, да ружьецо тоже с картечей. Иными речами – каждое село в оборону и не давать хлеба сверх нормы.

Застолье загудело.

– А норму кто будет устанавливать? Если ЧК, то хлеб выгребать будем целыми амбарами, чтобы не перевешивать.

– Да, а мясо прямо из пригонов живьем гнать к волости.

– Какая ЧК, у них своя ЧК по хлебу организована, целиком по продовольствию.

– Да, и главным поставлен какой-то Шлагбаум.

– Инденбаум, – поправил Данила Богданович и улыбнулся в бороду.

– Можя и так, мне шурьяк сказывал, он в городе в депо железо кует, в коммунистах, дак там называли фамилию.

– Обожди, он, стало быть, не русский?

– Шурьяк-то?

– Дура! Баум этот! Чужому, конечно, сподручней шкуру спускать с русского человека.

Данила Богданович тоже встал:

– Выбора у нас нет, по второй дороге придется востриться, Федор Петрович, как ты сказал. Только вот оборона – это как? Это же бунт, враз из пушек разнесут. Как-то бы умней надо, может, баб подбить на протест, с них какой спрос, волос длинный, ум короткий. Или пытаться договориться, вот столько, мол, дадим, а больше нету.

Опять задумались.

– Бабы только до первого выстрела орать будут, потом подола мокрые подхватят и по домам.

– А о переговорах ты зря мечтаешь, Данила Богданович, никто нас слушать не станет.

– Тогда что, мужики, опять в леса, пережидать, как Колчака?

– Ага, этих не пересидишь, не те ребята.

– Давайте же решать, как быть, Данила Богданович!

Атаманов молчал. Он видел тупик и не находил выхода. Бунт бессмыслен, он обречен, власть слаба, опоры в народе у нее нет, потому расчет только на армию. С землей смешают, втопчут, раздавят. А что сказать мужикам, ведь ждут, еще, смотри, спросят, зачем в таком разе собирал?

– Давайте так порешим. Как только у кого появится разверстка, сообщать в другие села. В деревнях поговорить тихонько с народишком, не с каждым, конечно, но поговорить, что надо

все-таки как-то протест выказать. Будем ждать, пусть власть первая слово скажет. А нам никто не поможет, кроме самих себя.

4

Председатель исполкома уездного совета Иван Яковлевич Кузьминский уже вторую ночь подряд провел в кабинете на стульчиках, рано утром вышел во двор, умылся из кадучки с дождевой водой, стекающей с крыши, разложил на столе бумаги. Полученный вчера нарочным пакет из губисполкома подтвердил все самые худшие опасения. Многие руководящие товарищи ближе к жатве бывали в уезде и видели хорошие хлеба. Отчетность по намолоту, конечно, занижена, с трех П, как он говорил, брали цифры чиновники: пол, потолок и палец, но нюх у руководства неудержимо усиливается, когда сверху не просто жмут, а директивно не дают даже головы поднять. Конечно, для губернских постановлений Совнаркома – нож к горлу, потому и возникла такая огромная цифра заготовок по уезду, пять миллионов пудов из восьми по губернии. Страхуются ребята, а ему как быть?

Кузьминский не хотел об этом думать, но мысль пробивалась и заставляла искать ответ. Суровые условия заготовок диктуются жестокой обстановкой в стране, постановление Совнаркома об изъятии хлебных излишков в Сибири он изучил внимательно, причину столь крутых мер понимал, но теперь, когда ему придется эти меры применять, родилось сомнение. Не разделял он глубокого убеждения руководящих товарищей из Кремля, что Сибирь зажала хлеб и сидит на булках, в то время как Центральная Россия уменьшает рабочую пайку до одного жевка.

Кузьминский мог бы поспорить с кем угодно, что пропустили мимо в губернии указание товарища Ленина о налаживании товарообмена между городом и деревней. Крестьянин готов поделиться последним, если ему предложат самое необходимое в обмен на хлеб: плуг, боронку, керосин, мануфактуру, сахар, спички, соль. Первая волна под лозунгом «Деревня поможет городу» вынесла к пролетарскому столу буханки сибирского хлеба, и Кузьминский, как и крестьяне, был уверен, что навстречу пойдут изделия и товары, но ничего этого не случилось. Почему? В губернии отбояривались, утверждая, что хлеб ушел в центр, там и надо требовать отдачи, однако на угрозу Кузьминского направить телеграмму лично товарищу Ленину в губисполкоме посоветовали одуматься и припухнуть: у Ленина, мол, и без того проблем много. Кузьминский знал, что немало, но это же важнейшая, товарообмен способен организовать безболезненное изъятие излишков, крестьянин разумно подсчитает и оставит на прокорм и семена ровно столько, сколько надо, ни одной пудовкой больше, остальное отдаст, но на основе надежного и справедливого обмена, а не обмана.

Кузьминский подумал, что хорошо бы об этом сказать сегодня на совещании, но его предупредили, что председательствовать будет сам Инденбаум. Гирша Самуилович не любит просто так участвовать в процессе, он непременно должен им руководить. Революционное прошлое этого пламенного большевика неизвестно, зато настоящее яркое. Прибыв в губернию и получив должность губернского продкомиссара, двадцатипятилетний молодой человек удивил даже старых чиновников, оставшихся на должностях после переворота, не говоря о новых советских и партийных кадрах: он в недельный срок укомплектовал губпродком, создал управляемую коллегия, назначил энергичных уполномоченных в уезды, нескольких привез с собой, и вот лично прибывает в самый хлебный и обнадеживающий уезд.

Кузьминский видел Инденбаума на совещании в губкоме партии, когда обсуждали постановление Совнаркома и только говорили об организации продразверстки в этом году и новой продкомиссии. Инденбаум держал речь, и многих поразила энергия и революционный восторг, однако один из руководителей губЧК, только что побывавший в уезде и подружившийся с Кузьминским, шепнул ему на ухо, что утром на заседании бюро губкома оратор уже прищучил председателя губЧК, назвал его паникером и размазней за какие-то высказанные опасения.

ния. «Твой уезд числится в гарантиях исполнения заготовок, так что учись спать стоя и бить наотмашь». На них зашикали, Кузьминский так и не уточнил, кого бить и за что.

В шесть утра позвонил на квартиру начальника уездной ЧК:

– Тебе были указания по встрече товарища Инденбаума?

– Нет, сказали, что он со своей охраной ездит, мне только совещание обеспечить.

– Ты дурачком не отходи, десяток человек верховых в форме и при оружии для сопровождения. Надо ему показать, что мы тут тоже не курей разводим.

Постучал по рычагу аппарата, попросил квартиру секретаря укома партии Сарина.

– Николай Иванович, Инденбаум прибывает к семи часам, ты не поедешь встречать?

– Не поеду, твой гость, ты и встречай.

– Ладно. Совещание в девять, помнишь?

– Я с пяти утра не сплю, пишу тезисы для выступления.

В окружении рослых азиатов, не то киргизов, не то китайцев, Инденбаум вышел из вагона, он был в длинном суконном пальто и в шляпе, сверкнул очками, перебросил в левую руку коричневый кожаный портфель и поздоровался с Кузьминским.

– Очень рад. Напомните имя-отчество.

– Иван Яковлевич.

– Очень мило, Иван Яковлевич. Стало быть, в девять большой сбор, мы успеем попить чаю. У вас есть буфет? Славно, а то я не люблю станционных, грязь, понимаете, и бескультурие. Вы на авто?

Кузьминский и не заметил, что забежал вперед:

– И своя, Григорий Самойлович, и вторая из укома тоже, да три пролетки, на всякий случай.

Инденбаум заливисто рассмеялся:

– Ах вы, шалунишка, знали, что я с обеспечением, ведь знали, верно?

Кузьминский округлил глаза:

– Откуда, товарищ Инденбаум? Просто на всякий случай.

Инденбаум был очень вежлив и деликатен, даже чай подливал Кузьминскому и Сарину, услужливо тарелку с печеньем подвинул поближе к Ивану Яковлевичу. Кузьминский крикнул: «Неспроста он стелет так мягко, тарелку эту мне еще припомнит, давиться буду его печеньем, уж точно».

Совещание открыл Сарин и сразу предоставил слово Инденбауму. Гирша Самуилович встал над столом, высокий, стройный, волосы назад, борода и усики по форме, полувоенный костюм тонкого сукна чист и отсвечивает блесками.

– Товарищи! Партия большевиков крайне обеспокоена материальным, а точнее продовольственным положением пролетариата в крупных промышленных центрах страны, и не просто обеспокоена, но и принимает решительные меры. Товарищ Ленин подписал известное постановление Совнаркома по хлебу Сибири, таким образом, товарищи, хлеб Сибири есть суть спасения революции. Революция только тогда чего-нибудь стоит, когда она умеет защищаться. И мы защитим нашу революцию. Есть твердое задание, и есть сроки его исполнения. Есть хлеб, и есть губернский продовольственный комитет, который обязан его взять. В моем распоряжении до тысячи штыков и мощный работоспособный аппарат, здесь присутствуют члены коллегии губпродкома товарищ Майерс и товарищ Лаурис. В моем мандате записано право контролировать деятельность всех ведомств губернии, немедленно арестовывать и отдавать под суд всех не подчинившихся мне в деле продовольственной диктатуры, отстранять от должности и назначать на должности. В уезде есть наши продработники, знайте, что они – красные комиссары продовольственного фронта. Только так надо понимать сегодняшнее положение дел, и я так его понимаю. С теми, кто не пожелает присоединиться к нашему пониманию, мы будем разговаривать на языке пролетарской диктатуры.

Замер зал и понуро внимал клятвенным заверениям оратора в исполнении долга и открытым угрозам тому, кто собирается или уже саботирует постановление Совнаркома. Уездные служащие и дюжина председателей волостных советов, которых успели предупредить и которые за ночь сумели добраться до города, разместились на трех десятках стульев и скамейках вдоль стен. Сарин нервно прихлебывал из граненого стакана тепловатую противную воду. Кузьминский как взял в карандаш, так и держал на взмахе, ничего не записывая, слушал, повернув голову в сторону оратора.

Инденбаум был бледен, белоснежным платком в синий горошек промокал влажный лоб, бросая в публику круглые и безжалостные фразы. Атаманов, сидевший у самой двери, слушал напряженно, такая манера публичной речи, агрессивная, с напором, была ему хорошо знакома по фронтовым митингам, когда неизвестно откуда взявшиеся господа в шляпах и кепочках, словно заводные, складно ругали царя, потом временное правительство, обещали народу мир, заводы и землю, славили коммуны как вожденное будущее, до которого один только шаг, надо лишь брататься с врагом, выходить из окопов и поворачивать штыки в сторону внутреннего врага, допреж всего – богатых, они враги. Молодой человек тогда враз представил себя перед отцом, который в своих краях считался состоятельным, но как, да и кто из смирновских мужиков мог поднять руку, даже голос на Данилу Богдановича, который работу – да, требовал, но и платил за нее, и кормил работников, и в магазине его все могли взять мужики в обмен на свои труды, без обиды и обмана. Насмотрелся и наслушался таких ораторов Григорий, и нынешний ничем не отличается, только он воровато не оглядывается по сторонам, как те, боявшиеся офицеров, он напорист, уверен и полон нездорового оптимизма. Неприкрытый призыв сломать и если потребуется уничтожить крестьянина, хозяина своего хлеба, отнять хлеб, слышал Григорий в этой огненной речи. Другие, он потом заметил, не слышали, выходя из душного кабинета, перебрасывались пустыми фразами о погоде, а ведь жизнь на дыбы, ощущение грядущей бучи – вот оно, неужели не видят?

Рукотворная беда, как дикая стихия, пришла в деревню, безумным вихрем поднимала, вздымала людскую тревогу, густым туманом зависала над разумом и ощущением, грохотом запоздавшего грома взрывалась первым горем. Ни одну деревню не миновало лихо, вызывая стоны и боль, в каждый дом вошло, в каждую избу. До зубовного скрежета, до побелевших скул, до сжатых кулаков – с глухой обидой и осознанием, уже неотвратимым осознанием страшного присутствия. А куда податься? Вот он, представитель власти, с наганом в кобуре, хотя и прикрытым пиджаком, а все топорщится, он дискуссии не открывает и твоим мнением не интересуется. Ему пуды, фунты, сроки – будь добр, исполни.

Уполномоченные уездного исполкома повезли в волости задания, разрядки, всяко их успели назвать, только фантазии быстро кончились, ЧК прибрала к рукам делопроизводителя из земельного отдела, обозвавшего врученную ему бумагу приговором. С такой бумагой и направился Григорий Атаманов в Бердюжскую волость. Раньше там бывать не приходилось, но о селе наслышан был, край богатой охоты и жирных карасей. Военком, бывавший там на рыбалке, рассказывал, что невод на Становом не могли вытащить, и в крыльях рыба, и в мотне не понять что, такие караси, как чурки колотые, широкие и объемные. Пришлось раздеваться и в воду лезть, выгребать улов, пока не облегчили мотню и выволокли на берег.

К обеду второго дня пути он подъехал к Бердюжью. Село словно вбежало на высокий бугорок, расклинилось двумя улицами рубленых домов, несколько явно купеческих вызывающе выделялись на фоне сибирской скромности. Спросил, где совет, указали на небольшой домик под железом. Конюх, наверное, предупрежденный, встретил у крыльца и взял под узцы лошадь.

- Я ее повожу маненько круг двора, пусть отпыхнет, а потом напою и корму дам маненько. Григорий разминал ноги, ходил у крыльца, приседал, конюху бросил:
- Прозвание твое деревенское Маненько, угадал?

– Нет, Латуза.

– А это что значит?

– Холера его знат, зовут и зовут. Проходи, ждут уж тебя.

Ждали трое, все просто одеты, все курят и веселье давно не посещало их лица. Первым поднялся невысокий крепыш, подал руку:

– Русин, секретарь партячейки.

– Ашихмин, председатель исполкома.

– Неймышев, член.

Русин предложил:

– Давайте к столу, товарищ Атаманов, выкладывайте документ.

Григорий открыл планшетку и положил исполкомовский лист с печатью. Ашихмин ахнул:

– Вдвое больше, чем по прошлому году.

Русин взял счеты:

– Где у тебя цифра весеннего посева? Поделит задание на десятины, отсюда и плясать.

Мужики заглядывали через плечо, а костяшки счет летали из стороны в сторону, и никто кроме Русина не мог объяснить очередность, деление на счетах не каждому дается. Григорий тоже с интересом глядел, хотя дело знакомое, отец на счетах тоже чудеса творил, приходилось видеть.

– Вкругляка получается не по тридцать ли пудов с десятины. Гражданин Атаманов, кто такую разверстку мог наложить?

Григорий молча закурил папиросу и отошел к окну.

– Ты пересчитай, постучи повнимательней, может, напутал чего, как же можно взять по тридцать пудов с десятины, если я собрал на чуть больше? А мне еще год жить, да на семена. Пересчитай! – озабоченно попросил Ашихмин.

Русин безнадежно отодвинул от себя счеты, тоже закурил.

– Цифра верная, – отошел от окна Атаманов. – Я ее еще вчера вычислил, по данным статистики. И подход по уезду единый. Давайте по собранию.

Русин рассудил:

– Так понимаю, что нынче собрание граждан не токмо ни к чему доброму не приведет, оно еще и опасно. После такого доклада, не знаю, кто его на смелится делать, а я не рискну, после оглашения нас просто примутся бить или на вилы подымут, если кто догадаться захватить.

– И правильно, между прочим, сделают, без вил тут не обойтись, – горько пошутил Неймышев.

Атаманов в упор посмотрел на Русина:

– А как же вы собираетесь выполнять разверстку в установленные сроки, если боитесь назвать людям задания? Я не имею права обсуждать решения уездных органов, мне поручено организовать исполнение, хотя свое мнение тоже имею. Но скажите, как хозяину донести, сколько ему сдавать зерна, мяса и прочее, если вы уже сейчас людей боитесь?

Русин молча сел, Ашихмин выглянул из комнаты, нет ли кого под дверью, Неймышев в разговор не вмешивался. Тяжелое молчание повисло в воздухе, прокуренном и неприятном.

– Отворите окно, – попросил Атаманов.

– Залепила уже полумойка, никакой дырки нет.

– Так двери откройте, дохнуть нечем.

– Слышать будет.

– А у нас секретов нету.

Неймышев покашлял и привлек внимание.

– Гражданин Атаманов, задание неверное, этак с крестьянином нельзя говорить. Что же такое – отдать все? Это же получится под весь намот, дай Бог, чтоб на семена осталось.

А жрать что? Ты сам говоришь, что такая картинка по всему уезду, стало быть, и мнения у мужиков будут такие же, верно? Потому я думаю, надо подаваться в уезд и открыть глаза начальству. Похоже, не только от нас ходоки будут, неужели в других местах хлеба лучше уродились? Не слыхал.

Атаманов молчал. Неймышев продолжал размышлять:

– Вот я и говорю, идти и в стол кулаком. Подскажи, к кому, к примеру, стучаться? В партию или в совет?

Григорий мучительно переживал неловкий разговор. В земле и крестьянских делах он не очень хорошо разбирался, но представлял все-таки всю неприемлемость для деревни таких сборов, и размышления мужиков принимал к сердцу. Ожидал и резкого, возмущенного протеста, почему-то думал, что власти непременно соберут сход или собрание и вовсе был обескуражен намерением идти к уездному начальству с просьбой уменьшить задание, срезать норму. Идти к тем, к то вчера утром вручил ему разнарядку на волость, а позавчера единогласно проголосовал за резолюцию в поддержку постановления Совета народных комиссаров.

Он видел и даже был уверен, что люди на том собрании и в зале, и в президиуме не были в восторге от цифр губернской директивы, но никто из них даже не попытался возразить. Они навсегда отрезали все возможности возвращения к этому вопросу. В памяти остался монументальный Инденбаум, размахивающий правой рукой в такт наиболее значительным моментам своей речи. Потому никто из уездных ничего не сможет сказать ходокам, сколько бы слез они не пролили и сколько бы убедительных доказательств в своих просьбах ни приводили. Инденбаум мог бы уменьшить задание, но он автоматически должен кому-то его тут же увеличить, потому ничего не будет делать тоже. Это даже если не брать во внимание его нежелание говорить с кем-то ниже уездного уровня и пренебрежение крестьянином и деревенщиной.

– Если вы понимаете, что такое задание не по силам, то лучше сейчас попытаться убедить власти. Только не партию и совет, а продком, в общем, товарища Инденбаума. Успеха не гарантирую, даже напротив, но пытаться надо. Только сделайте подробные расчеты, чтобы было конкретно. Смысл в том, если сигналов с мест будет много, власть должна уменьшить напор, потому что последствия могут быть еще хуже.

– Все-таки, гражданин Атаманов, поймет нас Инденбаум?

– Господи, о чем вы меня спрашиваете?

– Верно, Ашихмин, что вы прилипли к человеку, он же при исполнении, и так нам много чего открыл. – Русин с благодарностью посмотрел на Атаманова. – Григорий Данилович, ты не переживай, это все между нами, а в уезд я сам подамся. Как имя-отчество этого Инденбаума?

– Гирша Самуилович, но лучше Григорий Самойлович, ближе к русскому.

– Э-э-э, Атаманов, ты его хоть Иваном Ивановичем назови. Я что хотел сказать? Ты тут оставайся, пока шум среди народа поднимать не будем, съезди с моим братом на охоту, заяц сейчас хорошо идет. Это чтобы ты к моей выходке отношения не имел.

– На охоту не поеду, по деревням лучше пробежусь, с народом поговорю, похоже, мне до победы с вами тут..., так что знакомство лишним не будет.

– Как знаешь, Григорий Данилович, а я прямо сейчас отправлюсь, в Пегановой лошадь свежую возьму и завтра в городе буду, и сразу к властям. Давай хоть руку на прощание.

Они крепко поручкались, и Григорий проводил с крыльца отчаянного человека.

5

Инденбаум с помощниками и охраной занимал второй этаж кирпичного домика на Сенной. Утром ему доложили, что просит приема секретарь партячейки из Бердюжья.

– Секретарь ячейки? – переспросил Инденбаум. – Я не занимаюсь партийными делами, отправьте его к Сарину.

– Григорий Самойлович, он утверждает, что по делам продразверстки.

– Да? Любопытно. Зовите, интересно послушать партийного мужичка по вопросам продреволюции.

В кабинет вошел усталый человек лет тридцати, в помятой одежде, в дверях выпрямился и доложил почти по-армейски:

– Секретарь Бердюжской партячейки Русин, Петро Борисович.

Инденбаум с любопытством рассматривал посетителя, все-таки первый ходок, и непременно с просьбой о снижении задания, это уж как пить дать.

– Здравствуйте, Петр Борисович, прошу садиться. И слушаю вас, очень внимательно слушаю.

– Вот какое дело, товарищ комиссар, привело к вам. Вчера доставили нам бумагу с заданием по хлебу и прочему, так не получается ее выполнить, мы гумна очистим и сусеки выметим, а все равно не нагрести такую сумму.

– Минуточку, товарищ Русин, вы начали сбор на ссыпной пункт? У вас где ближайший?

– Да у нас же и есть ссыпной.

– Так я спрашиваю: начали?

Русин махнул рукой:

– Какое там, мы как разверстку получили, сразу к вам, потому как дело неисполнимое.

Инденбаум вышел из-за стола и прошелся по комнате. Нет, этого мужичка обидеть нельзя, надо его проводить с надеждой, что продразверстка дело хоть и принудительное, но вполне оборимое, пусть начинают, а там видно будет. Интересно, из других волостей тоже просители будут? Будут! Надо дать указание, чтобы ходоков не направляли, и гнать их в шею.

Он подошел к Русину и заботливо спросил:

– А почему вы, товарищ Русин, оставили свои крестьянские дела и поехали сюда? Вам ведь жалованье, как я понимаю, товарищ Сарин за партячейку не платит. И дел у вас по хозяйству, надо думать, немало, осень все-таки. А вы бросаете все и рветесь в город, к губкомиссару.

Русин хотел встать, но хозяин кабинета жестом руки остановил его, сам прошел до дверей, дымя папиросой.

– У нас в волости немножко членов партии, четырнадцать человек, считай, больше все фронтовики бывшие, там и повступали. Ну, есть, конечно, новоявленные, в основном женщины и молодняк. А почему поперся в город? Общество поручило мне обязательства, вот и исполняю. Я так понимаю, что партия большевиков от народа произошла и за народ должна волноваться.

Инденбаум сел за свой стол и продолжал курить.

– Хорошо, товарищ Русин. Вот вы секретарь партячейки от общества, как изволили выразиться, за народ беспокоитесь. Это замечательно. А я губернский комиссар по продовольствию, назначен в конце августа сего года. Как вы думаете, это назначение состоялось без партии? Секретарь губкома товарищ Авдеев дал свое согласие или его не спросили?

Русин, конечно, был простоват и доверчив, как всякий честный и добропорядочный сибиряк, он попытался вникнуть в витиеватый вопрос Инденбаума и, подумав, воскликнул:

– Надо думать, не только товарищ Авдеев, а весь губком вникал, и Москва согласилась с вашей должностью. Партия ничего не может оставить безо внимания.

– Совершенно верно! – обрадовался Инденбаум. – Теперь скажите, как нам с вами быть, вы от партии, и я от партии, я приказал, вы ставите под сомнение мое указание, пришли вот ко мне, чтобы отменить. Так?

Русин, еще ничего не понимая, согласился:

– Похоже, так и есть.

– Так какие же мы будем, к чертям собачьим, большевики, если свое мнение станем менять в зависимости от обстоятельств? Мы и только мы должны создавать эти обстоятельства, создавать условия, чтобы все наши директивы беспрекословно исполнялись. Вы не согласны?

Русин задумался. Что-то немножечко не то говорит комиссар, он подводит к выводу, что зря пришел секретарь партячейки и ничего у него не получится со снижением задания.

– Когда вот так на словах, я вроде бы согласный, а касательно разверстки по нашей волости – уступить не могу, товарищ!

Инденбаум улыбнулся:

– Интересный у нас разговор получается. Давайте мы так порешим: вы едете домой и начинаете сбор продовольствия. Строго согласно задания, хотя, допускаю, что не все сразу. Время есть. Если возникнут проблемы, мой кабинет всегда открыт для вас. И один совет: вы определите свое место, если вы большевик и согласны с линией партии, следуйте ей безоголочно. А колебания между политикой партии и мнением какого-то сомнительного общества – преступны, это к добру не приведет. – Он встал и протянул руку: – Желаю вам успехов, и лучше нам не встречаться больше по этому вопросу.

Русин вышел. Он еще хотел поинтересоваться, почему комиссар линию партии проводит в стороне от общества, от народа, но не успел. У коновязи поправил упряжь и прибрал торбу из-под овса, который кобылка давно съела, сел в ходок и потрусил в сторону дома. Мысли невеселые: никаких перемен, вроде как начинайте, а там посмотрим, хотя цифру не шевелить. Да, знатный говорун этот комиссар, почище нашего Никитки Локотана, далеко мы с емя пойдём. Хотя, Русин одумался, пригласил же комиссар, если в случае чего – приходи, мол, потолкуем. Да, что-то муторно на душе, скорей домой, да скирду домолачивать, пока зерна на рынке не много...

Если бы знал Русин, что случилось в его родном Бердюжье, пока он ехал до комиссара и пока мило с ним беседовал. Как раз в эти утренние часы в село прибыл продотряд во главе с уездным продкомиссаром Гуськовым. Десяток всадников при винтовках, и сам Гуськов, невысокого роста, крепенький, в простом костюме и хромовых сапогах.

Ашихмин хотел выйти на шум у крыльца, но гость его опередил, широко распахнул дверь, встал у порога.

– Ты Ашихмин? Я уездный комиссар Гуськов по продовольствию, только что был на ссыпном пункте, там у тебя кроме воробьев никого нет, стыд и срам! Где хлеб?

– Обожди, гражданин Гуськов, чего ты с порога в атаку, как газов нанюхавшись. Садись, я тебе все объясню.

– Ну-ну, – сердито согласился гость и сел.

– Разверстку мы получили, бумагу привез гражданин Атаманов, он в армейском комиссариате служит, мы задание раскинули на хозяйства и такое дело, гражданин Гуськов, столько разверстки нам не потянуть. То есть ноги протянем, а задачу не выполнить. Столько хлеба, сколько нам записали в уезде, мы отродясь не намолачивали. Потому командировали товарища Русина в уезд, чтобы, значит, задание снизить.

– Кто такой Русин?

– Это наша партячейка.

– Где Атаманов?

– В деревнях где-то, с народишком повстретиться...

Гуськов вскочил:

– Вы что тут, белены обожрались? Один в ходки ударился, другой в бирюльки с кулацким элементом поигрывают, ты сидишь за красной скатертью, как на свадьбе. А ну, встать! Я тебя немедленно сниму с должности, у меня такое право записано в мандате, но сначала ты мне обеспечишь мобилизацию продуктов, чтобы рабочий класс не пухнул с голоду! Где разбивка по хозяевам, давай, начинай с первого по списку.

Ашихмин не на шутку испугался, потому что заметил, пару раз Гуськов судорожно хватался за кобуру под пиджаком.

– Нету разбивки, гражданин Гуськов. Прикинули, по тридцать пудов на десятину посева выходит вкруговую, а посев у меня вот, все записано.

Гуськов рванул амбарную книгу.

– Так. Ашихмин – одиннадцать десятин пшеницы, значит, триста тридцать пудов. Барабенов – семь десятин, – он кинул тетрадь на стол: – Смотри дальше и умножай, какого хрена сидеть! И вызывай сюда по алфавиту, где у тебя исполнитель? Ничего нет, никакой работы, стыд и срам! Гони его по деревне со списком. Чего глаза вытарачил? Новости говорю?

– Ашихмин-то я, мое хозяйство.

Гуськов захохотал:

– Вот и славненько! Первый в списке, первым и привезешь хлеб на ссыпной. Первым исполнишь, чтоб другим пример. Чего стоишь, беги, запрягай лошадь, снаряжай красный обоз!

Ашихмин неловко маялся у дверей:

– Такого-то хлеба у меня нету, гражданин комиссар, не обмолочен еще, и половину едва наберу.

– Вези половину, – Гуськов уже загорелся, он знал, что дело пойдет, если сейчас подтолкнуть. – Бегом домой и грузи, да всем по пути накажи, чтобы не чесались.

Гуськов химическим карандашом быстро ставил цифры с десятинами посева, потом позвал счетовода и велел переписать фамилии хозяев и их пуды, получилась копия разрядки по волости.

Тем временем продармейцы сгоняли народ к совету, ехали верхами по улицам и кричали, чтобы все хозяева немедленно шли на собранье, есть важная новость. Мужики, видя чужих, хмурились и уходили вглубь дворов, находя работу, резвая бабенка высунулась за заплот:

– А мой в лес подался, дак как быть?

Продармеец хохотнул:

– Чище вымойся и сама приходи, мне, к примеру, бабу пороть даже послаще будет.

– Тьфу, дурак! – махнула та рукой и скрылась.

Народ собирался, человек до двадцати подошло. Неймышев подбежал, смешался с толпой, в совет заходить не стал.

– Где же Ашихмин?

– Хлеб на подводу грузит, этот ему, – кивнул мужик в сторону совета, – пригрозил, повезет на ссыпной.

– Что же он так, ему бы след тут быть, – пожалел Неймышев.

На крыльцо вышел Гуськов с бумагой в руке, встал посреди крыльца:

– Ваша власть допустила безобразную неорганизованность, и руководители ответят по всей строгости пролетарского суда. Задание по продовольственной разверстке получили еще вчера, и до сегодняшнего обеда ни одного зерна не сдали. Правда, председатель совета одумался и сейчас уже сдает хлеб, чтобы все последовали его примеру. Потому я сейчас оглашу список, и чтобы через два часа, – он распахнул полу пиджака и выдернул карманные часы, – к трем часам чтобы квитанции были у меня на столе. Если вздумаете дуру гнать – накажу, вплоть до расстрела.

– Не имеешь права! – крикнул визгливый голос из толпы.

– Уж что-что, а право-то я имею, – со злой улыбкой ответил Гуськов и сорвался: – Десять заложников расстреляю, если хлеба не будет! Оглашаю: Ашихмин, ну да, он уже везет, дальше по списку...

Вперед вышел Неймышев:

– Гражданин, не знаю твоего звания и имени, не надо бы спешить, наш человек вчера уехал в город ко властям, должен привезти поправку, все образуется, мы же выполняли в прошлом годе, а ты народ пугаешь.

Гуськов сверху вниз посмотрел на говорившего:

– Это человек ваш поспешил поехать в город, зря он торопился, с тем же и вернется, да еще и шею намылят. Но не об этом речь. Твоя фамилия?

– Неймышев

– Так, на тебе двести сорок пудов, кончай благовостить и вези хлеб, я тебя первым в заложники определю, если по волости сдачи не будет.

Неймышев ахнул:

– Во как! Да тут от всех хозяев малая доля, другие даже не знают, что же, за всю Ивановскую отдуваться?!

Гуськов нервно курил:

– Надо меньше по уездам мотаться и милости просить, вы бы еще молебен заказали, церква-то у вас вроде еще служит. Надо было народу задачу ставить и выполнять, а не разводить стыд и срам.

Закрыв калитку и пробежав к амбару с зерном, Ашихмин остановился, стряхнул противную дрожь в теле, вытер платком взмокший лоб, отмашкой руки проводил выскочившую на крыльцо жену. Эка напугал председателя уполномоченный, подумалось, про все забыл, и про важную должность свою и про собрание бюро партячейки, решившего добиваться от властей справедливости, и про мужинскую свою гордость тоже позабыл, так кинулся исполнять приказание, что ни с кем по дороге даже не поздоровался. Совестно ему стало, он сел на толстенное бревно, которое со времен родителя служило ступенькой в амбар. Тут в просушенных и чисто выскобленных сусеках всегда хранилось зерно, хлеб, сколько его семье требовалось, хотя, засыпая его, хозяин знал, что придется поделиться с государством, так всегда было, но при новой власти особо, и он специально сусек навалил, чтобы отгрузить налог натурой. Но то, сколько насчитал Русин, а потом подхватил этот Гуськов, столько даже в амбаре не было, надо домолачивать снопы в кладях. Значит, все свести на ссыпной, а семья останется без запаса, а ведь еще мясо, да шерсть, да яйца. Господи, помоги одуматься! Ашихмин достал кисет и нетвердыми пальцами свернул самокрутку. Вот, значит, как спешил набить кули пшеницей и свезти на ссыпной, чтобы потом с квитанцией бежать на доклад у Гуськову – как он меня круто огулял! Сделай я так, какой пример подал бы мужикам, каким себя оказал, какой козырь Гуськову кинул бы в колоду. Он тут же вывернет все село и в один день обескровит, видать его по ухваткам. И Русина нет, будет только к ночи, что привезет – неизвестно. А пока надо объяснить Гуськову, человек же он, наверно даже партийный, должен понять, что поставки одним днем не решить, по пятку мешков в зачет задания каждый двор может сдать, надо только объяснить людям. А по первому морозцу обмолотим остатки, и тогда будет полная картина, раз государству надо пролетариат кормить, крестьянин всей душой. Но не так же: забежал в ограду, телегу к амбару, мешки нагреб и на ссыпной. Ашихмин улыбнулся своим мыслям и успокоился. Надо возвращаться в совет, Гуськову ходу давать никак нельзя, он набуровит, что всю политику партии испортит.

Большая толпа у совета его насторожила, он втиснулся в середину, мужики сразу схватили за рукава:

– Степан Степаныч, куды вы все запропалились, власти деревенские, приехал из города человек и гужи рвет.

– Список огласил, и пуды там немереные, все сдать и не рыпаться.

– А он крикнул, что ты уже на ссыпном, закрывать норму поехал.

– Тут я, никуда не делся, по потребности отлучался на час, теперь к нему, решать будем об отсрочке, пока Русин вернется. – И он уверенно ступил на крыльцо своего сельсовета.

Гуськов сидел на его месте и крутил в руках револьвер, кобура лежала на столе, тряпочка тут же, которой Ашихмин пыль сбрасывал со стола. Он поднял глаза, кивнул вошедшему, и собрав оружие, положил его на стол справа.

– Быстро ты управился, молодец, сколько увез?

Ашихмин подошел к столу:

– Гражданин Гуськов, освободи место председателя, я должен бумагу написать, – сказал он твердо.

Гуськов удивился, пожал плечами, спрятал револьвер, пересел на скамейку у стены, положил ногу на ногу. Конечно, он понял, что ничего не увез председатель, по гонору его, по настырности понял, но не сразу решил, что делать. Все его ставки были на податливость председателя, он мог бы сейчас выйти на крыльцо и сказать саботажникам, что вот вам пример сознательности и исполнительности, так что расходитесь по домам и выстраивайтесь в очередь на ссыпной. Однако ничего не выходит, надо все перестраивать и быстро, инициативу терять нельзя, это тоже бой, и выигрывает тот, кто сумеет быстро перестроиться в изменившейся обстановке.

– Устал я с тобой, Ашихмин, и с народом твоим тоже. Сейчас пойдешь на крыльцо и объявишь, что завтра с утра мои люди будут на ссыпном пункте, копию со списка я снял, оригинал тебе оставляю, пользуйся. К вечеру всеми средствами донеси каждому его задание, и с утра в очередь, чтобы гул стоял, как крестьяне обеспечивают страну хлебом. В очередь и гул, понял? – Он говорил, не повышая голоса, но так напряженно, что у Ашихмина в ушах зазвенело. – А это сборище распусти и до встречи утром. Исполняй.

Ашихмин встал в дверях:

– Такую команду дать не могу, – сказал он. – Задания в одиночку тоже не могу довести, надо собирать совет.

Гуськов смотрел на него с удивлением:

– Я же пристрелю тебя как саботажника, позову сейчас пару ребят из отряда, они подтвердят, что ты кинулся на меня... вон с тем молотком. – Молоток, действительно, лежал на подоконнике. – Иди и объяви.

– Не могу, права не имею, только совет, да и товарищ Русин только к вечеру возвратится.

– Русина твоего уже шлепнули в ЧК как бузотера, это точно, – парировал Гуськов и сам себе удивился: надо в морду бить, а он уговаривает, это же враг, и везде они такие, и первую стычку надо выиграть, иначе как дальше действовать? Да и отряд скучает. – Ашихмин, ты пойдешь на крыльцо к народу или тебя тут застрелить?

Дверь открылась, и несколько мужиков вошли в комнату:

– Степаныч, мы тут посоветовались и решили по пятьдесят пудов свезти прямо седни, а завтрашним днем Русин возвратится и тогда видно будет.

– По-другому никак, энти ребята из армейцев уже интересуются, где у нас девки собираются, говорят, натурой будем налог собирать.

Ашихмин ободрился:

– Правильно решили, мужики, очень к своему времени, по пятьдесят пудов – это поддержка рабочему классу, а по остальным решим, на то она и советская власть.

Мужики вышли. Гуськов расхохотался:

– Обыграл ты меня в этом кону, Ашихмин, вчистую обыграл, но поймей в виду, что завтра я буду банк держать и тасовать колоду буду сам и картишки сдавать тоже. Дай команду на постой мне и отряду, к тебе, конечно, я не пойду, да ты и не позовешь.

6

Русин приехал уже затемно, до Пегановой гнал сельсоветскую кобылку безжалостно, потом своего ленивого мерина кое как разогнал. Баньку хозяйка подтопила, обмылся, только вышел, в ворота стукнули.

– Кто крещеный?

– Это я, Петро.

Отдернул засов.

– Я из бани, в одних подштанниках.

– Жарко в бане-то?

Ашихмин рассмеялся:

– Ты не попариться ли возжелал?

– Не ржи, а пошли в предбанник, надо, чтобы ушей меньше было, а у тебя теща и ребятишки.

Русин пересказал весь разговор с Инденбаумом, Ашихмин слушал, поддакивал, а когда Петр закончил, переспросил:

– И все? Цифры он тебе не дал другие?

– Нет, говорит, начинайте, а дело покажет.

– Ну, тогда я тебе скажу.

Долго в подробностях излагал события дня и окончательно обрадовал Русина решением свести завтра по пятьдесят пудов в зачет разверстки до решения основного вопроса.

Договорились, что совет соберут утром и распишут задание, все-таки не все равны, и слабосильному хозяйству среднюю нагрузку не поднять. Русин резонно заметил, что оспаривать надо, но надо и исполнять, иначе власть и разговаривать не будет, а прилепит ярлык саботажников. Про Гуськова он в уезде ничего не слышал. Спросил, где Атаманов. Ашихмин ответил:

– Нет его в селе, где-то в деревнях, и ладно, что не встретился с Гуськовым. Разные они.

– Просили передать, чтобы срочно возвращался в военкомат. Скажи, как приедет. Он у тебя будет?

– Обещался.

Григорий приехал глубокой ночью, собака залаяла, хозяин вышел, поставил коня под навес к приготовленному овсу и бадье с водой. Григорий ходил по двору и разминал ноги.

– К нам Гуськов с отрядом прибыл, знаешь такого?

– Слышал. И что?

Ашихмин вкратце повторил рассказ о событиях дня и удивился, что, в отличие от Русина, Атаманов не высказал удовлетворения их решением.

– Гуськов к вам приехал не чай пить, на прошлой неделе он был в Ларихинской волости, обернулось стычкой с мужиками. Ему в укоме сделали внушение, а Инденбаум оправдал. Поблажки не ждите, я на рассвете уеду, а вы утром собирайте совет и принимайте решение. Неподъемную разверстку власть может переложить на других, хотя и это вряд ли. Все просчитайте и начинайте сбор. С Гуськовым в позицию не вставайте, не давайте повода кобуру растянуть.

– Ладно, пошли спать.

Григорий уснул сразу, едва коснулся подушки, так намотался. Чуть начало зариться, поднялся, вышел во двор, следом вышел хозяин:

– Самовар раздуть, Григорий Данилович?

– Не беспокой семью, отдохай, у меня хлеб и шмат сала в сумке, перекушу дорогой.

Небо вызвездилось и вырядилось, как невеста, месяц только что не раскачивался, такой озорной. Восток загорался, из одного места, где солнце, как из кузнечного горна, исходил свет

и холодный жар. Небо светлело, но земля оставалась в тени, и сумрак казался еще гуще. Как все в природе распределено равномерно, каждое создание знает свое место и назначение, взойдет солнце – исчезнет месяц, была ночь – станет день. И так вечно. Единожды и навсегда создателем установлен закон. Только для человека нет никакого единого правила, всякое время придумывает свои законы, ломает людей, которые в эти законы не могут вписаться, потом протесты, убийства царей, мятежи, войны – и все ради утверждения все новых и всегда других порядков. Вот и теперь непонятно что происходит, вроде власть от народа, в том числе и от крестьян, куда же их девать, но ни с чем не считается, доводит задания неподсильные, и уже есть протесты. А если исполнители начнут нажимать, а нажимать они начнут, это точно, тот же Гуськов уже показал, как это делать, да и Инденбаум недвусмысленно заявил, что задание – это закон, и все, кто имеет отношение к его неисполнению – преступники.

На выезде из села его окликнули:

– Стой, кто такой? Куда следуешь?

– Что за проверка? Я сотрудник уездного военкомата.

– Атаманов? Тебя и встречаем. Мы из отряда продкомиссара Гуськова, он ждет тебя в совете.

Григорий понял, что противиться бесполезно, их трое, если бежать – пуля догонит, и они будут правы. Встреча с Гуськовым теперь крайне нежелательна, но придется, тем более, что он ждет, значит, есть что сказать. Ночь, наверное, не спал, все прикидывал, как прищучить укомовского посланца, провалившего начало разверстки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.